

Франс Анатоль Восстание Ангелов

ГЛАВА I, которая в немногих строках излагает историю одной французской семьи с 1789 года до наших дней

Особняк д'Эпарвье под сенью св. Сульпиция высится своими тремя суровыми этажами над двором, позеленевшим от моха, с садом, который из года в год теснят все более высокие, все ближе подступающие к нему здания; но в глубине два громадных каштана все еще вздымают над ним свои поблекшие вершины. Здесь с 1825 по 1857 год жил великий человек этой семьи, Александр Бюссар д'Эпарвье, вице-президент государственного совета при Июльском правительстве, член Академии моральных и политических наук, автор трехтомного *in octavo* «Трактата о гражданских и религиозных установлениях народов», труда, к сожалению, незаконченного.

Этот прославленный теоретик либеральной монархии оставил наследником своего рода, своего состояния и своей славы Фульгенция-Адольфа Бюссара д'Эпарвье, который, сделавшись сенатором при Второй империи, значительно увеличил свои владения тем, что скупил участки, через которые должен был пройти проспект Императрицы, а сверх того произнес замечательную речь в защиту светской власти пап.

У Фульгенция было три сына. Старший, Марк-Александр, поступил на военную службу и сделал блестящую карьеру: он умел хорошо говорить. Второй, Гаэтан, не проявил никаких особенных талантов. Он жил большей частью в деревне, охотился, разводил лошадей, занимался музыкой и живописью. Третий, Ренэ, с детства был предназначен к юриспруденции, но, будучи в должности помощника прокурора, подал в отставку, чтобы избежать участия в применении декретов Ферри о конгрегациях; позднее, когда в правлении президента Фальера возвратились времена Деция и Диоклетиана, он посвятил все свои знания и все свое усердие служению гонимой церкви.

Со времени Конкордата 1801 года до последних лет Второй империи все д'Эпарвье, дабы подать пример, аккуратно посещали церковь. Скептики в душе, они считали религию средством, которое способствует управлению. Марк и Ренэ были первыми в роду, проявившими истинное благочестие. Генерал, еще будучи полковником, посвятил свой полк «Сердцу Иисусову» и исполнял обряды с таким рвением, которое выделяло его даже среди военных, а ведь известно, что набожность, дочь неба, избрала своим любимым местопребыванием на земле сердца генералов Третьей республики. И вера подчиняется капризам судьбы. При старом режиме вера была достоянием народа, но отнюдь не дворянства и не просвещенной буржуазии. Во время Первой империи вся армия сверху донизу была заражена безбожием. В наши дни народ не верит ни во что. Буржуазия старается верить, и иногда ей это удается, как удалось Марку и Ренэ д'Эпарвье, однако брат их, сельский дворянин Гаэтан не достиг этого. Он был агностиком, — как говорят в свете, чтобы не употреблять неприятного слова «вольнодумец», — и он открыто объявлял себя агностиком, вопреки доброму обычаю скрывать такие вещи. В наше время существует столько способов верить и не верить, что грядущим историкам будет стоить немалого труда разобраться в этой путанице. Но ведь и мы не лучше разбираемой и верованиях эпохи Симмаха и Амвросия.

Ревностный христианин, Ренэ д'Эпарвье был глубоко привержен тем либеральным идеям, которые достались ему от предков как священное наследие. Вынужденный бороться с республикой, безбожной и якобинской, он тем не менее считал себя республиканцем. Он требовал независимости и суверенных прав для церкви во имя свободы. В годы ожесточенных дебатов об отделении церкви от государства и споров о конфискации церковного имущества соборы епископов и собрания верующих происходили у него в доме.

И когда в большой зеленой гостиной собирались наиболее влиятельные вожди католической партии-прелаты, генералы, сенаторы, депутаты, журналисты, и души всех присутствующих устремлялись с умиленной покорностью или вынужденным послушанием к Риму, а господин д'Эпарвье, облокотясь на мраморный выступ камина, противопоставлял гражданскому праву каноническое и красноречиво изливал свое негодование по поводу ограбления французской церкви, — два старинных портрета, два лика, неподвижные и немые, озирали на это злободневное собрание. Направо от камина-портрет работы Давида-Ромэн Бюссар, землепашец из Эпарвье, в куртке и канифасовых штанах, с лицом грубым, хитрым, слегка насмешливым, — у него были основания смеяться: старик положил начало благосостоянию семьи, скупая церковные угодья. Слева портрет кисти Жерара — сын этого крестьянина, в парадном мундире, увешанный орденами, барон Эмиль Бюссар д'Эпарвье, префект империи и первый советник министра юстиции при Карле X, скончавшийся в 1837 году церковным старостой своего прихода со стихами из вольтеровской «Девственницы» на устах.

Ренэ д'Эпарвье в 1888 году женился на Марии-Антуанетте Купель, дочери барона Купеля, горнозаводчика в Бленвилле (Верхняя Луара); с 1903 года г-жа д'Эпарвье возглавляет общество христианских матерей. В 1908 году эти примерные супруги выдали замуж старшую дочь; остальные трое детей — два сына и дочь — еще жили с ними.

Младший сын — шестилетний Леон — помещался в комнате рядом с апартаментами матери и сестры Берты. Старший Морис занимал маленький, в две комнаты, павильон в глубине сада. Молодой человек располагал там полной свободой, благодаря чему жизнь в семье казалась ему вполне сносной. Это был довольно красивый юноша, элегантный, без излишней манерности; легкая улыбка, чуть приподнимавшая один уголок его губ, была не лишена приятности.

В двадцать пять лет Морис обладал мудростью Экклезиаста. Усомнившись в том, чтобы человек мог получить какую-либо пользу от своих земных трудов, он никогда не обременял себя ни малейшим усилием. С самых ранних лет этот юный представитель знатного рода успешно избегал учения и, так и не отведав университетской премудрости, сумел стать доктором прав и адвокатом судебной палаты.

Он никого не защищал и не выступал ни в каких процессах. Он ничего не знал и не хотел ничего знать, сообразуясь в этом со своими природными способностями, милую ограниченность коих он избегал перегружать, ибо счастливый инстинкт подсказал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо.

По выражению аббата Патуйля, Морис свыше получил блага христианского воспитания. С детства он видел примеры христианского благочестия у себя дома, а когда, окончив коллеж, он был зачислен на юридический факультет, он обрел у родительского очага ученость докторов, добродетель духовных пастырей и постоянство стойких женщин. Соприкоснувшись с общественной и политической жизнью во время великого гонения на французскую церковь, он не пропустил ни одной манифестации католической молодежи; в дни конфискации он возводил баррикады у себя в приходе, и вместе со своими приятелями выпряг лошадей архиепископа, когда того изгнали из дворца. Однако во всех этих обстоятельствах он проявлял весьма умеренное рвение; никто не видел, чтобы он красовался в первых рядах этого героического воинства, призывая солдат к славному неповиновению, или швырял в казначейских чиновников грязью и осыпал их оскорблениями.

Он выполнял свой долг — и только, а если во время великого паломничества 1911 года он и отличился в Лурде, перенося расслабленных, то существует подозрение, что делал он это с целью понравиться г-же де ла Вердельер, которая любит сильных мужчин. Аббат Патуйль, друг семьи и глубокий знаток души человеческой, понимал, что Мориса отнюдь не привлекает мученический венец. Он упрекал его в недостатке рвения и драл за уши, называя бездельником. Во всяком случае, Морис был верующим. Среди заблуждений юности вера его оставалась нетронутой, ибо он к ней не прикасался. Он никогда не пытался вникнуть ни в один из ее догматов. Ему не приходило в голову задумываться над нравственными

принципами, господствовавшими в кругу, к которому он принадлежал. Он принимал их такими, какими они были ему преподнесены. Поэтому при всех обстоятельствах он выказывал себя вполне порядочным человеком, что было бы выше его сил, если бы он стал размышлять о тех основах, на коих зиждутся нравы. Он был вспыльчив, горяч, обладал чувством чести и тщательно развивал его в себе. Он не был ни тщеславен, ни заносчив. Как большинство французов, он не любил тратить деньги; если бы женщины не заставляли его делать им подарки, он сам не стал бы ничего им дарить. Он полагал, что презирает женщин, а на самом деле обожал их, но чувственность его была столь непосредственной, что не позволяла ему замечать это. Единственное, чего никто не угадывал в нем и сам он отнюдь не подозревал в себе, хотя об этом и можно было догадаться по теплому влажному сиянию, вспыхивавшему иногда в глубине его красивых светло-карих глаз, — это то, что он был существо нежное, способное к дружбе; а в общем, в повседневной жизни он был изрядный повеса.

ГЛАВА II, в которой читатель найдет полезные сведения об одной библиотеке, где в скором времени произойдут невероятные события

Объятый желанием охватить весь круг человеческих знаний и стремясь дать своему энциклопедическому гению вещественный символ и реальную видимость, соответствующую своим денежным средствам, барон Александр д'Эпарвье собрал библиотеку в триста шестьдесят тысяч томов и рукописей, большинство коих принадлежало ранее бенедиктинцам из Лигюже.

В особом пункте своего завещания он вменял в обязанность наследникам пополнять после его смерти библиотеку всем, что будет выходить и свет ценного в области естествознания, социологии, политики, философии и религии. Он выделил из оставленного им наследства специальные суммы для этой цели и поручил свою библиотеку заботам старшего сына Фульгенция-Адольфа. И Фульгенций-Адольф с сыновней рачительностью выполнял последнюю волю своего знаменитого отца.

После него эта огромная библиотека, стоимость коей превосходила долю каждого из наследников, осталась неразделенной между тремя сыновьями и двумя дочерьми сенатора. И Ренэ д'Эпарвье, к которому перешел особняк на улице Гарансьер, стал хранителем его богатейшего собрания. Сестры его, г-жа Поле-де-Сен-Фэн и г-жа Кюиссар, неоднократно настаивали на ликвидации этого громадного и бездоходного имущества, но Ренэ и Гаэтан выкупили долю своих двух сонаследниц, и библиотека была спасена. Ренэ д'Эпарвье занялся даже ее пополнением, согласно воле основателя. Однако с каждым годом он сокращал количество и стоимость новых приобретений, основываясь на том, что плодов умственного труда в Европе становится все меньше.

Гаэтан, напротив, из собственных средств пополнял библиотеку новыми, на его взгляд, достойными трудами, выходившими во Франции, а также за границей, и при этом показал себя не лишенным объективного суждения, хотя братья считали, что у него нет и крупинки здравого смысла. Благодаря этому праздному, любознательному человеку книжное собрание барона Александра кое-как держалось на уровне своего времени.

Библиотека д'Эпарвье еще и сейчас одна из лучших частных библиотек в Европе по богословию, юриспруденции и истории. Вы можете изучать здесь физику, или, лучше сказать, физические науки во всех их разветвлениях, а если вам вздумается, то и метафизику, или метафизические науки, то есть все, что лежит за пределами физики и не имеет другого названия, ибо невозможно обозначить каким-нибудь существительным то, что не имеет существа, а являет собой лишь мечты и иллюзорные представления. Вы можете наслаждаться здесь философами, которые утверждают, отрицают или разрешают проблему абсолютного, определяют неопределимое и устанавливают границы безграничного. Все что

удовольствие можно найти в этой гряде писаний и сочинений, священных и нечестивых, — все, вплоть до самого модного, самого элитного прагматизма. Иные библиотеки знамениты более богатым собранием переплетов, которые внушают почтение своей древностью, славятся своим происхождением, пленяют атласистостью и оттенками кожи, — они обратились в драгоценность благодаря искусству золотильщика, который вытиснил на них тончайший узор — виньетки, завитки, гирлянды, кружева, эмблемы, гербы, — и своим нежным блеском чаруют ученые взоры; в других библиотеках вы, может быть, найдете больше манускриптов, которые венецианская, фламандская или туренская кисть украсила тонкими и живыми миниатюрами. Но ни одна из них не превзойдет эту библиотеку богатством собранных в ней отличных, солидных изданий старинных и современных, духовных и светских авторов. В ней можно найти все, что нам осталось от древних веков, отцов церкви, апологетов и декреталистов, всех гуманистов Возрождения, всех энциклопедистов, всю философию, всю науку.

Именно это и заставило кардинала Мерлена сказать, когда он соизволил посетить библиотеку:

— Невозможно найти человека, у которого была бы достаточно крепкая голова, чтобы вместить всю ученость, собранную на этих полках. К счастью, в этом нет никакой необходимости.

Когда монсеньор Кашпо был викарием в Пираже, он там часто занимался и нередко говаривал:

— Здесь достаточно пищи, чтобы вскормить не одного Фому Аквинского и не одного Ария, если бы только умы человеческие не утратили былого рвения к добру и злу.

Рукописи, бесспорно, составляют главное богатство этого колоссального собрания. Среди них особенного внимания заслуживают неизданные письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля, которые проливают новый свет на мировоззрение XVII века. Необходимо также отметить древнееврейские писания, талмуды, ученые сочинения раввинов, печатные или рукописные, арамейские и самаритянские тексты на бараньей коже или дощечках сикоморы, — словом, все те драгоценные древние экземпляры, которые были собраны в Египте и Сирии знаменитым Моисеем Динским и куплены Александром д'Эпарвье за бесценок, когда в 1836 году ученый гебраист умер в Париже от старости и нищеты.

Библиотека д'Эпарвье занимала третий этаж старого особняка. Труды, представлявшие второстепенный интерес, как, например, произведения протестантской экзегетики XIX и XX веков, приобретенные Гаэтаном д'Эпарвье, были запрятаны непереpletенными в глубоких недрах мансарды. Каталог с дополнениями составлял по меньшей мере 18 томов *in folio*. Каталог этот включал все новые приобретения, и библиотека содержалась в образцовом порядке. В 1895 году г-н Жюльен Сарьетт, архивариус-палеограф, человек бедный и скромный, живший уроками, сделался по рекомендации епископа Агрского воспитателем юного Мориса и почти с того же времени — хранителем библиотеки д'Эпарвье. Одаренный способностью к методическому труду и упорным терпением, Сарьетт сам разнес по отделам все части этого огромного целого. Выработанная и применяемая им система была столь сложна, шифры, которые он ставил на книгах, состояли из такого количества больших и малых латинских и греческих букв, арабских и римских цифр с одной, двумя и тремя звездочками да еще с разными знаками, которыми в арифметике обозначаются степени и корни, что для изучения всего этого надо было потратить больше времени и труда, чем для изучения полного курса алгебры; а так как не нашлось никого, кто бы согласился посвятить изучению этих темных символов время, которое с большей пользой можно было бы употребить на открытие законов чисел, то один только г-н Сарьетт и был способен разбираться в своих классификациях, и отыскать без его помощи нужную книгу среди трехсот шестидесяти тысяч вверенных ему томов стало раз и навсегда невозможным. Таков был результат его стараний. И это не только не огорчало его, а, наоборот, доставляло ему живейшее удовольствие.

Г-н Сарьетт любил свою библиотеку. Он любил ее ревливой любовью. Каждый день с

семи часов утра он уже сидел там за большим столом красного дерева, уткнувшись в каталог. Карточки, исписанные его рукой, наполняли стоявшую возле него монументальную картотеку, на которой красовался гипсовый бюст Александра д'Эпарвьё с развевающимися волосами и вдохновенным взором, с маленькими, как у Шатобриана, бачками у самых ушей, с полураскрытым ртом и оголенной грудью. Ровно в полдень г-н Сарьетт отправлялся завтракать в кафе «Четырех епископов». Кафе это находилось на узкой и темной улице Канетт; некогда его посещали Бодлэр, Теодор де Банвиль, Шарль Асселино, Лун Менар и некий испанский гранд, который перевел на язык конквистадоров «Тайны Парижа». И утки, которые так славно плещутся на старой каменной вывеске, — благодаря им улица и получила свое название, — приветствовали г-на Сарьетта. Он возвращался оттуда ровно без четверти час и не выходил из библиотеки до семи, когда он опять отправлялся к «Четырем епископам» и усаживался за свой скромный обед, неизменно завершавшийся черносливом. Каждый вечер после обеда сюда заглядывал его приятель Мишель Гинардон, которого все звали папаша Гинардон. Это был художник-декоратор, реставратор картин, работавший в церквях. Он являлся к «Четырем епископам» со своего чердака на улице Принцессы выпить кофе с ликером и сыграть с приятелем в домино. Рослый, кряжистый, полный жизненных сил, папаша Гинардон был так древен, что это даже трудно себе представить: он знал Шенавара. Свирепый блюстителю целомудрия, он неустанно обличал распутство современных язычников, пересыпая свою речь самыми чудовищными непристойностями. Он любил поговорить. Сарьетт с удовольствием слушал его. Папаша Гинардон с увлечением рассказывал своему приятелю о часовне Ангелов в церкви св. Сульпиция; там начала местами лупиться живопись, и он собирался ее реставрировать, когда на это будет милость божья, потому что, с тех пор как церковь отделилась от государства, храмы сделались достоянием одного господина бога и никто не желает тратить денег даже на самый неотложный ремонт. Но папаша Гинардон не гнался за деньгами.

— Михаил — мой покровитель, — говорил он, — а к часовне святых Ангелов у меня особое пристрастие.

Сыграв партию в домино, они поднимались — крошечный Сарьетт и крепкий, как дуб, косматый, как лев, громадный, как св. Христофор, папаша Гинардон и, беседуя, шли рядом через площадь св. Сульпиция, и ночь спускалась над ними, когда тихая, когда ненастная. Сарьетт обычно отправлялся прямо к себе домой, к великому огорчению художника, который любил побродить и поболтать ночью.

На следующий день, ровно в семь, Сарьетт уже сидел у себя в библиотеке, уткнувшись в каталог. Когда кто-нибудь входил в библиотеку, Сарьетт из-за своего письменного стола устремлял на посетителя взор Медузы, заранее ужасаясь тому, что у него сейчас, попросят книгу. Он рад был бы обратить в камень этим взглядом не только чиновников, политиков, прелатов, которые, пользуясь дружескими отношениями с хозяином, приходили попросить нужную книгу, но даже и благодетеля библиотеки г-на Гаэтана, который иногда брал какую-нибудь старенькую, легкомысленную или нечестивую книжицу на случай, если в деревне зарядит дождь, и г-жу Ренэ д'Эпарвьё, когда она приходила за книгами для больных своего госпиталя, и самого г-на Ренэ д'Эпарвьё, хотя он обычно довольствовался «Гражданским кодексом» и Даллозом. Всякий, кто уносил с собой самую ничтожную книжонку, раздирал Сарьетту душу. Чтобы отказать в выдаче книги даже тем, кто имел на нее больше всего прав, он выдумывал тысячи предлогов, иногда удачных, а большей частью совсем неудачных, не останавливаясь даже перед тем, чтобы оклеветать самого себя, подвергнуть сомнению свою бдительность, и уверял, что книга пропала, затерялась, хотя за несколько секунд до того он ласкал ее взглядом и прижимал к сердцу. И когда ему все-таки, несмотря ни на что, приходилось выдать книгу, он раз двадцать брал ее из рук посетителя, прежде чем вручить окончательно.

Он беспрестанно дрожал от страха, как бы не пропало что-либо из доверенных ему сокровищ. Он хранил триста шестьдесят тысяч томов, и у него вечно было триста шестьдесят тысяч поводов для беспокойства. Ночью он иногда просыпался с жалобным воплем, в

холодном поту, ибо ему снилась черная дыра на одной из библиотечных полок.

Ему казалось чудовищным, незаконным и непоправимым, чтобы книга покидала свою полку. Его благородная скупость приводила в отчаяние г-на Ренэ д'Эпарвье, который не ценил достоинств своего образцового библиотекаря и считал его старым маньяком. Сарьетт понятия не имел об этой несправедливости, но он не побоялся бы самой жестокой немилости, вынес бы бесчестье, оскорбление, лишь бы сохранить в неприкосновении свое сокровище. Благодаря его упорству, бдительности и рвению или, чтобы выразить все одним словом, благодаря его страсти библиотека д'Эпарвье под его опекой не потеряла ни одного листа в течение шестнадцати лет, которые истекли 9 сентября 1912 года.

ГЛАВА III, которая вводит читателя в область таинственного

В этот день, в семь часов вечера, расставив, как всегда, на полках те книги, которые были сняты с них, и удостоверившись, что все остается в полном порядке, он вышел из библиотеки и запер за собой дверь, два раза повернув ключ в замке.

Он пообедал по обыкновению в кафе «Четырех епископов», прочел газету «Ла Круа» и к десяти часам вернулся в свою маленькую квартирку на улице Регар. Этот чистый сердцем человек не испытывал ни тревоги, ни предчувствия. Он спокойно спал в эту ночь. Ровно в семь часов на следующее утро он вошел в переднюю библиотеки, снял по обыкновению новый сюртук и надел старый, висевший в стенном шкафу над умывальником, затем прошел в рабочий кабинет, где в продолжение шестнадцати лет он шесть дней в неделю обрабатывал свой каталог под вдохновенным взором Александра д'Эпарвье, и, намереваясь произвести, как всегда, осмотр помещения, проследовал оттуда в первый, самый большой зал, где «Теология» и «Религия» хранились в громадных шкафах, увенчанных гипсовыми, под бронзу, бюстами древних поэтов и ораторов. В оконных нишах стояли два огромных глобуса, изображавших землю и небо. Но едва только Сарьетт вступил туда, он остановился как вкопанный, не смея усомниться в том, что видит, и в то же время не веря собственным глазам. На синем сукне стола кое-как, кучей, были свалены книги, — одни раскрыты, текстом вверх, другие перевернутые вверх корешками. Несколько *in quarto* беспорядочно громоздились друг на дружку неустойчивой кипой; два греческих лексикона лежали, втиснутые один в другой, образуя единое существо, более чудовищное, чем человеческие пары божественного Платона. Один *in folio* с золотым обрезом валялся раскрытый, выставляя наружу три безобразно загнутых листа.

Выйдя через несколько секунд из своего оцепенения, библиотекарь приблизился к столу и увидел в этой хаотической груде свои драгоценнейшие еврейские, греческие и латинские библии, уникальный талмуд, печатные и рукописные трактаты раввинов, арамейские и самаритянские тексты, синагогальные свитки, короче говоря, — редчайшие памятники Израиля, сваленные в кучу, брошенные и растерзанные. Г-н Сарьетт очутился перед лицом чего-то что было невозможно понять и чему он все же пытался найти объяснение. С какой радостью ухватился бы он за мысль, что виновником этого чудовищного беспорядка был г-н Газтан, человек беспринципный, пользовавшийся своими пагубными приношениями в библиотеку для того, чтобы брать из нее книги охапками, когда он бывал в Париже. Но г-н Газтан в это время путешествовал по Италии. После нескольких секунд размышления Сарьетт предположил, что, может быть, поздно вечером г-н Ренэ д'Эпарвье взял ключи у своего камердинера Ипполита, который вот уже двадцать пять лет убирал комнаты третьего этажа и мансарду. Правда, г-н Ренэ д'Эпарвье никогда не работал по ночам и не знал древнееврейского языка, но, может быть, думал г-н Сарьетт, может быть, он привел или распорядился проводить в эту залу какого-нибудь священника или монаха Иерусалимского ордена, остановившегося проездом в Париже, какого-нибудь ученого ориенталиста, занимающегося толкованием священных текстов. Затем у г-на Сарьетта мелькнула мысль: не аббат ли Патуйль, который отличался такой любознательностью и имел

обыкновение загигать страницы, набросился на все эти библейские тексты и талмуды, объятый внезапным стремлением постигнуть душу Сима? На секунду он подумал, что, может быть, сам старый камердинер Ипполит, который четверть века подметал и убирал библиотеку, слишком долго отравлялся этой ученой пылью и вот нынешней ночью, снедаемый любопытством, вздумал портить себе глаза, губить разум и душу, пытаясь при лунном свете разгадать эти непонятные знаки. Г-н Сарьетт дошел даже до того, что заподозрил юного Мориса. Он мог, вернувшись из клуба или из какого-нибудь собрания националистов, повытаскивать с полок и свалить в кучу эти еврейские книги просто из ненависти к древнему Иакову и его новому потомству, так как этот отпрыск благородного рода заявлял, что он антисемит, и поддерживал знакомство только с теми евреями, которые, как и он, были антисемитами. Конечно, такое подозрение трудно было допустить, но взбудораженный ум Сарьетта, не находя ничего, на чем можно было бы остановиться, блуждал среди самых невероятных предположений. Горя нетерпением узнать правду, ревностный хранитель книг позвал камердинера.

Ипполит ничего не знал. Швейцар, когда его спросили, не мог дать никаких объяснений. Никто из слуг не слышал ничего подозрительного. Сарьетт спустился в кабинет г-на Ренэ д'Эпарвье; тог встретил его в халате и ночном колпаке и, выслушав его рассказ с видом серьезного человека, которому надоедают со всякой чепухой, проводил его со словами, в которых сквозила жестокая жалость;

— Не огорчайтесь так, мой милый Сарьетт, будьте уверены, что книги лежат сегодня утром там же, где вы их вчера оставили.

Г-н Сарьетт раз двадцать начинал сызнава опрашивать слуг, ничего не добился и расстроился до такой степени, что не мог спать. На следующий день, в семь часов утра, войдя в залу Бюстов и Глобусов, он нашел все в полном порядке и вздохнул с облегчением. Вдруг сердце у него заколотилось с неистовой силой, — на мраморной доске камина он увидел раскрытый, переплетенный томик *in octavo* новейшего издания с вложенным в него самшитовым ножом, которым были разрезаны страницы. Это была диссертация, тема которой заключалась в сопоставлении двух текстов книги Бытия. Некогда г-н Сарьетт отправил ее на чердак, и с тех пор ее ни разу не извлекали оттуда, ибо никто из знакомых г-на д'Эпарвье не интересовался вопросом о том, какая часть этой первой из священных книг приходится на долю толкователя-монотеиста и какая на долю толкователя-политеиста. На этой книге стоял значок. И вот тут-то г-ну Сарьетту внезапно открылась горькая истина, что никакая самая ученая нумерация не поможет найти книгу, если ее нет на месте.

Так в течение целого месяца на столе каждый день с утра громоздились целые груды книг. Латинские и греческие тексты валялись попеременно с древнееврейскими. Сарьетт задавал себе вопрос, не является ли эти ночные разгромы делом злоумышленников, которые проникают сюда с чердака, через слуховое окно, чтобы похитить редкие и ценные издания. Но никаких следов взлома нигде не было видно, и, несмотря на самые тщательные розыски, он ни разу не обнаружил ни малейшей пропажи. Сарьетт совершенно потерял голову, и его стала преследовать мысль, что, может быть, это какая-нибудь обезьяна из соседнего дома лазает с крыши через камин и орудует здесь, имитируя ученые занятия. «Обезьяны, — рассуждал он, — очень искусно подражают действиям человека». Так как нравы этих животных были известны ему главным образом по картинам Ватто и Шардена, он воображал, что в искусстве повторять чьи-нибудь жесты или передразнивать кого-нибудь они подобны Арлекинам, Скарамушам, Церлинам и Докторам итальянской комедии; он представлял их себе то с палитрой и кистями, то со ступкой в руке за приготовлением снадобий, то склоненными над горном за изучением старинной книги по алхимии. И когда в одно злосчастное утро он увидел большую чернильную кляксу на странице III тома многоязычной Библии в голубом сафьяновом переплете, с гербом графа Мирабо, он уже не сомневался больше, что виновницей этого злодеяния была обезьяна. Она пыталась «делать заметки» и опрокинула чернильницу. Очевидно, это была обезьяна какого-нибудь ученого,

Обуянный этой мыслью, Сарьетт тщательно изучил топографию квартала, для того

чтобы точно представить себе расположение домов, среди которых возвышался особняк д'Эпарвье. Затем прошел по всем четырем прилегающим улицам и в каждом подъезде спрашивал, нет ли в доме обезьяны. Он обращался с этим вопросом к привратникам и привратницам, к прачкам, служанкам, к сапожнику, к торговке фруктами, к стекольщику, к газетчикам, к священнику, к переплетчику, к двум полицейским, к детям, и ему пришлось столкнуться с различием характеров и многообразием человеческих настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получал на свои вопросы, были весьма различны: они были иногда суровые, иногда ласковые, грубые и учтивые, простодушные и иронические, многословные и короткие и даже немые, — только о животном, которое он разыскивал, не было ни слуху ни духу. Но вот однажды под аркой одного старого дома на улице Сервандони веснушчатая рыжая девчонка, сидевшая в каморке привратника, сказала ему:

— Да, у нас есть обезьяна у господина Ордоно, хотите посмотреть?

И без дальних разговоров она повела старика в глубину двора, к сараю. Там, на согревшейся соломе, на рваной подстилке, сидела, дрожа, молодая макака, охваченная цепью поперек туловища. Она была ростом с пятилетнего ребенка. Ее посиневшая мордочка, морщинистый лоб, тонкие губы выражали смертельную тоску. Она подняла на посетителя все еще живой взгляд своих желтых зрачков. Потом маленькой сухой ручкой схватила морковку, поднесла ко рту и тут же отшвырнула прочь. Поглядев несколько мгновений на пришедших, пленница отвернулась, как если бы она не ждала ничего больше ни от людей, ни от жизни. Скорчившись, обхватив колено рукой, она сидела, не двигаясь, но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь.

— Это Эдгар, — сказала девочка. — Вы знаете, он продается! Но старый книголюб, который пришел сюда, объятый гневом и негодованием, ожидая встретить насмешливого врага, коварное чудовище, ненавистника книг, теперь стоял растерянный, подавленный, огорченный перед этим- маленьким зверьком, у которого не было ни сил, ни радости, ни желаний. Поняв свою ошибку, растроганный этим почти человеческим лицом, еще более очеловеченным печалью и страданиями, он опустил голову и сказал:

— Простите.

ГЛАВА IV, которая в своей внушительной краткости выносит нас за пределы осязаемого мира

Прошло два месяца; безобразия с книгами не прекращались, и г-н Сарьетт начал подумывать о франкмасонах. Газеты, которые он читал, были полны их преступлениями. Аббат Патуйль считал их способными на самые черные злодеяния и утверждал, что они, вкупе с евреями, замышляют полное разрушение христианского мира.

Они достигли теперь вершины своего могущества, они господствовали во всех крупных государственных органах, командовали палатами, у них было пять своих людей в министерстве, они занимали Елисейский дворец, они уже отправили на тот свет одного президента за его патриотизм и затем помогли исчезнуть виновникам и свидетелям своего гнусного злодеяния. Не проходило дня без того, чтобы Париж с ужасом не узнавал о каком-нибудь новом таинственном убийстве, подготовленном в Ложях. Все это были факты, не допускавшие сомнения. Но каким образом преступники проникали в библиотеку? Сарьетт не мог себе этого представить. И что им там было нужно и почему они привязались к раннему христианству и к эпохе возникновения церкви? Какие нечестивые замыслы были у них? Глубокий мрак покрывал эти чудовищные махинации. Честный католик, архивист, чувствуя на себе бдительное око сынов Хирама, заболел от страха.

Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где совершались столь загадочные происшествия, чтобы застигнуть врасплох коварных и опасных гостей. Это было большое испытание для его робкого мужества.

Будучи человеком слабого сложения и беспокойного характера, Сарьетт, естественно, не отличался храбростью. Восьмого января, в девять часов вечера, когда город засыпал под снежным бураном, он жарко растопил камин в зале, украшенном бюстами древних поэтов и мудрецов, и устроился в кресле перед огнем, закутав колени пледом. На столике перед ним стояла лампа, чашка черного кофе и лежал револьвер, взятый у юного Мориса. Он попытался было читать газету «Ла Круа», но строчки плясали у него перед глазами. Тогда он стал пристально смотреть прямо перед собой и, не видя ничего, кроме мглы, и не слыша ничего, кроме ветра, уснул.

Когда он проснулся, огонь в камине уже погас, догоревшая лампа распространяла едкую вонь; мрак вокруг него был полон каких-то молочно-белых отсветов и фосфоресцирующих вспышек. Ему показалось, будто на столе что-то шевелится. Ужас и холод пронизали его до мозга костей, но, поддерживаемый решимостью, которая была сильнее страха, он встал, подошел к столу и провел рукой по сукну. Ничего не было видно, даже отсветы исчезли, но он нащупал пальцами раскрытый фолиант. Он попробовал было закрыть его, но книга не слушалась и, вдруг подскочив, трижды больно ударила неосторожного библиотекаря по голове. Сарьетт упал без сознания.

С этого дня дела пошли еще хуже. Книги целыми грудями исчезали с полок, и теперь их уже не всегда удавалось водворить на место; они пропадали. Сарьетт каждый день обнаруживал все новые и новые пропажи. Болландисты были разрознены, не хватало тридцати томов экзегетики. Сарьетт стал не похож на себя. Лицо у него сморщилось в кулачок и пожелтело, как лимон, шея вытянулась, плечи опустились, одежда висела на нем, как на вешалке, он перестал есть и в кафе «Четырех епископов» сидел, опустив голову, и смотрел тупыми, ничего не видящими глазами на блюдец, где в мутном соку плавал чернослив. Он не слышал, когда папаша Гинардон сообщил ему, что принимается наконец за реставрацию росписей Делакруа в церкви св. Сульпиция.

На тревожные заявления своего несчастного хранителя г-н Ренэ д'Эпарвье сухо отвечал:

— Книги просто затерялись где-нибудь, — они не пропали. Ищите хорошенько, господин Сарьетт, ищите получше, и вы их найдете. А за спиной старика он говорил тихонько:

— Этот бедняга Сарьетт плохо кончит.

— Мне кажется, — заключал аббат Патуйль, — у него что-то с головой не в порядке.

ГЛАВА V,

где часовня Ангелов в церкви св. Сульпиция дает пищу для размышлений об искусстве и богословии

Часовня св. Ангелов, которая находится справа от входа в церковь св. Сульпиция, была закрыта дощатой загородкой. Аббат Патуйль, г-н Гаэтан, его племянник Морис и г-н Сарьетт вошли гуськом через дверцу, сделанную в загородке, и увидели папашу Гинардона на верхней ступеньке лестницы, приставленной к «Илиодору». Старый художник, вооруженный всяческими составами и инструментами, замазывал беловой пастой трещину, расщелившую первосвященника Онию. Зефирина, любимая модель Поля Бодри, Зефирина, которая надела своими белокурыми волосами и перламутровыми плечами стольких Магдалин, Маргарит, Сильфид и Ундин; Зефирина, которая, как поговаривали, была возлюбленной императора Наполеона III, стояла внизу у лестницы, взлохмаченная, с землистым лицом, с воспаленными глазами, с украшенным обильной растительностью подбородком, и казалась еще древнее, чем папаша Гинардон, с которым она прожила больше полувека. Она принесла в корзинке завтрак художнику.

Несмотря на то, что сквозь решетчатое окно, стекла которого были оправлены свинцом, сбоку проникал холодный свет, краски Делакруа сверкали, а тела людей и ангелов

соперничали в блеске с красной лоснящейся рожей папаша Гинардона, видневшейся из-за колонны храма. Эта стенная роспись в часовне Ангелов, которая вызвала такие насмешки и глумления, когда появилась, ныне вошла в классическую традицию и обрела бессмертие шедевров Рубенса и Тинторетто.

Старик Гинардон, обросший бородой, косматый, был подобен Времени, стирающему работу Гения. Гаэтан в испуге вскрикнул:

— Осторожней, господин Гинардон, осторожней, не скоблите так.

Художник сказал спокойно:

— Не бойтесь, господин д'Эпарвье. Я не пишу в этой манере, Мое искусство выше. Я работаю в духе Чимабуэ, Джотто, Беато Анджелико. Я не подражатель Делакруа. Слишком уж здесь много противоречий и контрастов, нет впечатления подлинной святости. Шенавар, правда, говорил, что христианство любит пестроту, но Шенавар был проходимец, нехристь без стыда и совести... Смотрите, господин д'Эпарвье, я шпаклюю щель, подклеиваю отставшие кусочки, и только... Эти повреждения вызваны оседанием стены или, что еще вероятнее, небольшим колебанием почвы; они охватывают очень небольшую площадь. Эта живопись масляными и восковыми красками по очень сухой грунтовке оказалась более прочной, чем можно было думать. Я видел Делакруа за этой работой. Стремительный, но неуверенный, он писал лихорадочно, счищал то и дело, клал слишком много краски. Его мощная рука писала иной раз с детской неловкостью. Это написано с мастерством гения и неопытностью школяра. Просто чудо, что все это еще держится.

Старик замолчал и снова принялся заделывать трещину.

— Как много в этой композиции классического и традиционного, — заметил Гаэтан. — Когда-то в ней видели только поражающее новаторство. А теперь мы находим в ней бесчисленные следы старых итальянских образцов.

— Я могу позволить себе роскошь быть справедливым, я располагаю для этого всеми возможностями, — отозвался старик с высоты своего горделивого помоста. — Делакруа жил во времена нечестия и богохульства. Этот живописец упадка был не лишен гордости и величия. Он был лучше своей эпохи, но ему недоставало веры, простосердечия, чистоты. Чтобы видеть и писать ангелов, ему недоставало ангельской добродетели, которой дышат примитивы, той высшей добродетели целомудрия, которую я с божьей помощью всегда старался соблюдать.

— Молчи, Мишель, ты тоже свинья, как и все.

Это восклицание вырвалось у Зефирины, снедаемой ревностью, потому что еще сегодня утром она видела, как ее любовник обнимал на лестнице дочку булочницы, юную Октавию, грязную, но сияющую, словно Рембрантова невеста. В давно минувшие дни прекрасной юности Зефирина была без памяти влюблена в своего Мишеля, и любовь еще не угасла в ее сердце.

Папаша Гинардон принял это лестное оскорбление с еле скрытой улыбкой и возвел очи к небу, где архангел Михаил, грозный под своим лазурным панцирем и алым шлемом, возносился в сиянии славы.

Между тем аббат Патуйль, заслонясь шляпой от резкого света, льющегося из окна, и прищурился глазами, рассматривал по очереди: Илиодора, бичуемого ангелами, святого Михаила, победителя демонов, и Иакова, который борется с ангелом.

— Все это очень хорошо, — пробормотал он наконец, — но почему живописец изобразил на этих стенах только гневных ангелов? Сколько я ни разглядываю эту роспись, я вижу здесь только глашатаев небесного гнева, вершителей божественного мщения. Бог хочет, чтобы его боялись, но он хочет также, чтобы его любили. Как отрадно было бы увидеть на этих стенах вестников милосердия и мира. Как хотелось бы, например, узреть здесь Серафима, который очистил уста пророка; святого Рафаила, сошедшего вернуть зрение престарелому Товию; Гавриила, возвещающего Марии тайну святого зачатия; ангела, который разрешает от уз святого Петра; херувимов, которые уносят преставившуюся святую Екатерину на вершину Синая, я всего лучше было бы созерцать здесь ангелов-хранителей,

которых бог дает всем людям, крещенным во имя его. У всякого из нас есть свой ангел, он сопутствует каждому нашему шагу, утешает и поддерживает нас. Какое счастье было бы любоваться здесь, в часовне, этими небесными духами, полными очарования, этими восхитительными образами.

— Ах, господин аббат, всякому свое, — ответил Гаэтан. — Делакруа был не из кротких. Старик Энгр был до известной степени прав, говоря, что живопись этого великого человека пахнет серой. Присмотритесь-ка к этим ангелам, какая великолепная и мрачная красота, а эти гордые и свирепые андрогинны, эти жестокие отроки, заносащие над Илиодором карающие бичи! И этот таинственный борец, который разит патриарха в бедро.

— Тсс, — сказал аббат Патуйль, — этот ангел в Библии не похож на других; если это ангел, то ангел созидания, предвечный сын божий. Я удивляюсь, как достопочтенный кюре святого Сульпиция, который поручил господину Эжену Делакруа роспись этой часовни, не осведомил его, что символическая борьба патриарха с тем, кто не пожелал открыть свое имя, происходила глубокой ночью и что здесь не место этому сюжету, ибо он касается воплощения Иисуса Христа. Лучшие живописцы могут впасть в заблуждение, если не позаботятся получить от авторитетных духовных лиц указания по вопросам христианской иконографии. Каноны христианского искусства составляют предмет многочисленных исследований, которые вам, конечно, известны, господин Сарьетт.

Сарьетт водил по сторонам ничего не видящими глазами. Это было на третье утро после ночного происшествия в библиотеке. Однако, услышав вопрос почтенного аббата, он напряг свою память и ответил:

— По этому вопросу полезно почитать Молануса «De historia sacrarum imaginum et picturarum», издание Ноэля Пако, Лувен, 1771 год, или кардинала Федерико Борromeо «De pictura sacra»; можно также заглянуть в иконографию Дидрона, но этим последним трудом следует пользоваться с осторожностью.

Сказав это, Сарьетт снова погрузился в молчание. Он думал о своей расхищенной библиотеке.

— С другой стороны, — продолжал аббат Патуйль, — уж если в этой часовне надо было показать примеры ангельского гнева, следует только похвалить живописца за то, что он, по примеру Рафаэля, изобразил небесных посланцев, карающих Илиодора. Илиодор, которого сирийский царь Селевк послал похитить сокровища храма, был повержен ангелом, явившимся ему в золотых доспехах на роскошно убранном коне. Два других ангела стали бичевать Илиодора лозами. Он пал на землю, как это изображает здесь господин Делакруа, и был окутан мраком. Было бы справедливо и полезно показать эту историю в качестве примера республиканским комиссарам полиции и нечестивым казначейским агентам. Илиодоры никогда не переведутся, но пусть знают, что всякий раз, как они наложат руку на достояние церкви, которое есть достояние бедных, ангелы будут бичевать и ослеплять их. Мне бы хотелось, чтобы эту картину или, пожалуй, более высокое творение Рафаэля на эту же тему напечатали небольшим форматом в красках и раздавали школьникам в виде награды.

— Дядя, — сказал, зевнув, юный Морис, — по-моему, эти штуки просто уродливы. Матисс или Метценже мне нравятся куда больше.

Никто не слышал его слов, и папаша Гинардон продолжал вещать со своей лестницы:

— Только мастерам примитива дано было узреть небо. Истинную красоту в искусстве можно найти только между XIII и XV веками. Античность, распутная античность, которая с XVI века снова подчиняет умы своему пагубному влиянию, внушает поэтам и живописцам преступные мысли, непристойные образы, чудовищную разнузданность, всяческое бесстыдство. Все живописцы Возрождения были бесстыдниками, не исключая Микель Анджело.

Но тут, видя, что Гаэтан собирается уходить, папаша Гинардон сделал умильное лицо и тихонько зашептал ему:

— Господин Гаэтан, если вас не пугает взобраться на пятый этаж, загляните как-нибудь

в мою каморку. Есть у меня две-три небольших картинки, которые я хотел бы сбыть с рук. Вам они, наверно, понравятся. Написано хорошо, смело, по-настоящему. Кстати, я показал бы вам одну маленькую штучку Бодуэна, до того аппетитную, смачную, что прямо слюнки текут.

На этом они распрощались, и Гаэтан вышел. Сходя с паперти и поворачивая на улицу Принцессы, он обнаружил рядом с собой Сарьетта и ухватился за него, как ухватился бы за любое человеческое существо, дерево, фонарный столб, собаку или даже собственную тень, чтобы высказать свое негодование по поводу эстетических теорий старого художника.

— Этакую дичь несет этот папаша Гинардон со своим христианским искусством и примитивами! Да ведь все небесные образы художников взяты на земле: бог, дева Мария, ангелы, святые угодники и угодницы, свет, облака. Ведь когда старик Энгр расписывал витражи часовни в Дре, он сделал карандашом с натуры прекрасный, тончайший набросок нагой женщины, который среди многих рисунков можно видеть в музее Бонна в Байонне. А внизу листа папаша Энгр записал для себя, чтоб не забыть: «Мадемуазель Сесиль, замечательные ноги и бедра». А чтоб сделать из мадемуазель Сесиль святую, он напялил на нее платье, мантию, покрывало, и этим постыдно изуродовал ее, потому что никакие лионские и генуэзские ткани не сравнятся с живой, юной тканью, окрашенной чистой кровью в розовый цвет, и самая роскошная драпировка ничто по сравнению с линиями прекрасного тела. Да всякая одежда в конце концов незаслуженный срам и худшее из унижений для цветущей и желанной плоти.

Гаэтан ступил не глядя в замерзшую канавку на улице Гарансьер и продолжал:

— Этот папаша Гинардон — вредный идиот, он поносит античность, святую античность, те времена, когда боги были добры. Он превозносит эпоху, когда и живописцам и скульпторам приходилось всему учиться заново. На самом деле христианство было враждебно искусству, потому что оно порицало изучение нагого тела. Искусство есть воспроизведение природы, а самая что ни на есть подлинная природа — это человеческое тело, это нагота.

— Позвольте, позвольте, — забормотал Сарьетт, — существует красота духовная и, так сказать, внутренняя, и христианское искусство, начиная с Фра Анджелико до Ипполита Фландрена...

Но Гаэтан ничего не слушал и продолжал говорить, обращаясь со своей страстной речью к камням старой улицы и к снеговым облакам, которые проплывали над его головой.

— Нельзя говорить о примитивах как о чем-то едином, потому что они совершенно различны. Этот старый болван валит всех в одну кучу. Чимабуэ испорченный византиец; в Джотто угадывается могучий талант, но рисовать он не умеет и, словно ребенок, приставляет одну и ту же голову всем своим персонажам; итальянские примитивы полны радости и изящества, потому что они итальянцы; у венецианцев есть инстинкт краски. Но все эти замечательные ремесленники больше разукрашивают и золотят, а не пишут. У вашего Беато Анджелико, на мой вкус, слишком нежное сердце и палитра. Ну, а что касается фламандцев, то это уж совсем другое; они набили руку, и по блеску мастерства их можно поставить рядом с китайскими лакировщиками. Техника у братьев Ван-Эйк просто чудесная, а все-таки в «Поклонении агнцу» я не вижу никакой таинственности, ни того очарования, о котором столько говорят. Все это написано с неумолимым совершенством, но все так грубо по чувству и беспощадно уродливо! Мемлинг, может быть, трогателен, но у него все какие-то тщедушные и калеки, и под всеми этими богатыми, тяжелыми, неуклюжими одеяниями его дев и мучениц чувствуются убогие тела. Я не ждал, пока Рожьер ван дер Вейден переименовался в Рожэ де ла Патюр и превратился во француза, чтобы предпочесть его Мемлингу. Этот Рожьер, или Рожэ, уже не столь наивен, но зато он более мрачен, и уверенность его мазка только подчеркивает на его полотнах убожество форм. Что за странное извращение восхищаться этими постными фигурами, когда на свете существует живопись Леонардо, Тициана, Корреджо, Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, Пуссена и Прудона. Ну, право же в этом есть какой-то садизм!

Между тем аббат Патуйль и Морис д'Эпарвье медленно шагали позади эстета и библиотекаря. Аббат Патуйль, обычно не склонный вести богословские беседы с мирянами и даже с духовными лицами, на этот раз, увлекшись интересной темой, рассказывал юному Морису о святом служении ангелов-хранителей, которых г-н Делакура, к сожалению, не включил в свои росписи. И чтобы лучше выразить свою мысль об этом возвышенном предмете, аббат Патуйль заимствовал у Боссюэ обороты, выражения и целые фразы, которые он в свое время вызубрил наизусть для своих проповедей, ибо он был весьма привержен к традиции.

— Да, дитя мое, господь приставил к каждому из нас духа-покровителя. Они приходят к нам с его дарами и относят ему наши молитвы. Это их назначение. Ежечасно, ежеминутно они готовы прийти к нам на помощь, эти ревностные, неутомимые хранители, эти неусыпные стражи.

— Да, да, это замечательно, господин аббат, — поддакнул Морис, обдумывая в то же время, что бы ему поудачнее сочинить и, растрогав мать выудить у нее некоторую сумму денег, в которой он чрезвычайно нуждался.

ГЛАВА VI, где Сарьетт находит свои сокровища,

На следующее утро г-н Сарьетт ворвался без стука в кабинет г-на Ренэ д'Эпарвье. Он вздымал руки к небу; редкие волосы у него на голове стояли дыбом; глаза округлились от ужаса. Едва ворочая языком, он сообщил о великом несчастье: древнейший манускрипт Иосифа Флавия, шестьдесят томов различного формата, бесценное сокровище — «Луcreций» с гербом Филиппа Вандомского, великого приора Франции, и собственноручными пометками Вольтера, рукопись Ришара Симона и переписка Гассенди с Габриэлем Нодэ — сто тридцать восемь неизданных писем — все исчезло. На этот раз хозяин библиотеки встревожился не на шутку. Он поспешно поднялся в залу Философов и Сфер и тут собственными глазами убедился в размерах опустошения. На полках там я сям или пустые места. Он принялся шарить наугад, открыл несколько стальных шкафов, нашел там метелки, тряпки и огнетушители, разгреб лопаткой уголь в камине, встряхнул парадный сюртук Сарьетта, висящий в умывальной, и в унынии воззрелся снова на пустое место, оставшееся от писем Гассенди. Целых полвека весь ученый мир громогласно требовал опубликования этой переписки. Г-н Ренэ д'Эпарвье оставался глух к этому единодушному призыву, не решаясь ни взять на себя столь трудную задачу, ни доверить ее кому-либо другому. Обнаружив в этих письмах большую смелость мысли и множество мест, чересчур вольных для благочестия XX века, он предпочел оставить эти страницы неизданными, но он чувствовал ответственность за это драгоценное достояние-перед своей родиной и перед всем культурным человечеством.

— Как могли вы допустить, чтоб у вас похитили это сокровище? — строго спросил он у Сарьетта.

— Как я мог допустить, чтобы у меня похитили это сокровище? — повторил несчастный библиотекарь. — Если б мне рассекли грудь, сударь, то увидели бы, что этот вопрос врезан в моем сердце.

Нимало не тронутый столь сильным выражением, г-н д'Эпарвье продолжал, сдерживая гнев:

— И вы не находите ровно ничего, что могло бы вас навести на след похитителя, господин Сарьетт? У вас нет никаких подозрений? Ни малейшего представления о том, как это могло случиться? Вы ничего не видели, не слышали, не замечали? Ничего не знаете? Согласитесь, что это невероятно. Подумайте, господин Сарьетт, подумайте о последствиях этой неслыханной кражи, совершившейся у вас на глазах. Бесценный документ истории человеческой мысли исчезает бесследно. Кто его украл? С какой целью? Кому это понадобилось? Похитившие его, разумеется, прекрасно знают, что сбить с рук этот документ

здесь, во Франции, невозможно. Они продадут его в Америку или в Германию. Германия охотится за такими литературными памятниками. Если переписка Гассенди с Габриэлем Нодэ попадет в Берлин и немецкие ученые опубликуют ее, — какое это будет несчастье, я бы сказал даже, какой скандал! Господин Сарьетт, вы подумали об этом?

Под тяжестью этих обвинений, тем более жестоких, что он и сам, не переставая винил себя, Сарьетт стоял неподвижно и тупо молчал.

А г-н д'Эпарвье продолжал осыпать его горькими упреками:

— И вы не пытаетесь ничего предпринять? Вы не прилагаете никаких стараний, чтоб найти это неоценимое сокровище? Ищите, господин Сарьетт, не сидите сложа руки. Постарайтесь придумать что-нибудь, дело стоит того.

И, бросив ледяной взгляд на своего библиотекаря, г-н д'Эпарвье удалился.

Г-н Сарьетт снова принялся искать пропавшие книги и рукописи; он искал их повсюду; там, где искал их уж сотни раз, и там где они никак не могли находиться, — в ведре с углем, под кожаным сиденьем своего кресла. Когда часы пробили двенадцать, он машинально пошел вниз. Внизу, на лестнице, он встретил своего бывшего воспитанника Мориса и молча поздоровался. Перед глазами его словно стояло облако, и он смутно видел людей и окружающие предметы.

Удрученный хранитель библиотеки уже выходил в вестибюль, когда Морис окликнул его:

— Да, кстати, господин Сарьетт, я чуть было не забыл: велите-ка забрать старые книги, которые свалили у меня в павильоне.

— Какие книги, Морис?

— Право, не могу сказать, господин Сарьетт, какое-то старье на древнееврейском и еще целая куча старых бумаг, прямо завалено все. У меня в передней комнате повернуться негде.

— Кто же это принес?

— А черт их знает.

И молодой человек быстро прошел в столовую, так как завтракать звали уже несколько минут тому назад.

Сарьетт бросился в павильон. Морис сказал правду: на столах, на стульях, на полу валялось не меньше сотни томов. При виде этого зрелища, полный удивления и смятения, не помня себя от восторга и страха, радуясь, что он нашел свое исчезнувшее сокровище, страшась, как бы не потерять его снова, ошеломленный этой неожиданностью, старый книжник то лепетал как ребенок, то хрипло вскрикивал, как сумасшедший. Он узнал свои древнееврейские библии, свои старые талмуды, древнейший манускрипт Иосифа Флавия, письма Гассенди к Габриэлю Нодэ и величайшую свою драгоценность «Лукреция» с гербом великого приора Франции и собственноручными пометками Вольтера. Он смеялся, он плакал, он бросался целовать сафьян, телячью кожу, пергамент, веленевые страницы и деревянные переплеты, изукрашенные гвоздиками, И по мере того как камердинер Ипполит переносил книги, охапку за охапкой, в библиотеку, Сарьетт трясущимися руками благоговейно расставлял их по местам.

ГЛАВА VII,

весьма любопытная и мораль коей, я надеюсь, придется по вкусу большинству читателей, ибо ее можно выразить следующим горестным восклицанием: «Куда ты влечешь меня, о мысль!»; недаром всеми признается сия истина, что мыслить вредно и подлинная мудрость заключается, в том, чтобы ни о чем не размышлять

Благоговейными руками Сарьетта все книги снова были собраны вместе, но это счастливое объединение их длилось недолго:

В следующую же ночь опять исчезло двадцать томов, и среди них «Лукреций» приора

Вандомского. На протяжении одной недели древние тексты Ветхого и Нового завета, греческие и еврейские снова переместились в павильон, и в течение всего месяца, каждую ночь, покидая свои полки, они таинственно направлялись по тому же пути. Некоторые же книги исчезали неизвестно куда. Выслушав рассказ об этих непостижимых событиях, г-н Ренэ д'Эпарвье безо всякого сочувствия сказал своему библиотекарю

— Все это очень странно, мой бедный Сарьетт, поистине чрезвычайно странно.

А когда Сарьетт посоветовал подать жалобу или уведомить комиссара полиции, г-н д'Эпарвье воскликнул:

— Что вы предлагаете, господин Сарьетт? Предать гласности наши семейные секреты? Поднять шум? Вы понимаете, что говорите? У меня есть враги, и я горжусь этим. Я полагаю, что я заслужил их ненависть, а вот на что я мог бы пожаловаться, так это на бешеные нападки сторонников моей же партии, ярых роялистов. Я готов признать, что они, быть может, прекрасные католики, но весьма недостойные христиане... Короче говоря, за мной следят, шпионят, наблюдают, а вы предлагаете мне выдать на поношение газетчикам смехотворную загадку, нелепейшее происшествие, в котором мы с вами играем довольно-таки жалкую роль. Вы что, хотите сделать меня посмешищем?

В результате этой беседы решено было переменить все замки в библиотеке. Обсудили все в подробностях, позвали рабочих. В течение шести недель особняк д'Эпарвье с утра до вечера оглашался стуком молотков, скрипением сверл, скрежетом напильников. В зале Философов и Сфер зажигались паяльные лампы, и запах бензина вызывал тошноту у обитателей особняка. Старые, мирные, послушные замки сменились в дверях и шкафах новыми, прихотливыми и упрямыми. Это были запоры сложного устройства, всяческие замки с шифром, предохранительные засовы, болты, цепи, электрические сигнализаторы. Вся эта железная механика наводила страх. Металлические скобы сверкали, затворы скрипели. Чтобы открыть какую-нибудь дверь, какой-нибудь шкаф или ящик, нужно было знать особый шифр, известный только г-ну Сарьетту. Голова его была набита причудливыми словами, огромными цифрами, он путался в этой тайнописи, в этих квадратных, кубических, треугольных числах. Сам он уже больше не мог открыть ни одной двери, ни шкафа, но каждое утро он находил их широко распахнутыми, а книги перепутанными, разбросанными, расхищенными. Однажды ночью полицейский подобрал в сточной канаве на улице Сервандони брошюру Соломона Рейнака о тождестве Вараввы и Иисуса.

Так как на ней стояла печать библиотеки д'Эпарвье, он принес ее владельцу.

Г-н Ренэ д'Эпарвье, даже не соблаговолив поставить в известность г-на Сарьетта, решил обратиться к одному из своих друзей, человеку, заслуживающему доверия, г-ну дез'Обель, который в качестве советника судебной палаты расследовал несколько серьезных дел. Это был маленький кругленький человечек с очень красной физиономией и очень большой лысиной. Его гладкий череп напоминал бильярдный шар. Как-то раз утром он явился в библиотеку, прикинувшись библиофилом, но тотчас же обнаружилось, что в книгах он ничего не смыслит. В то время как бюсты древних философов ровным кругом отражались на его лысине, он задавал г-ну Сарьетту коварные вопросы, а тот смущался и краснел, ибо нет ничего легче, как смутить невинность. С этой минуты г-н дез'Обель проникся сильным подозрением, что именно Сарьетт и является виновником всех этих краж, о которых сам же вопит. И он решил тотчас же приступить к поискам сообщников. Что касается мотивов преступления, — этим он не интересовался: мотивы всегда найдутся. Г-н дез'Обель предложил г-ну Ренэ д'Эпарвье учредить секретное наблюдение за особняком с помощью агента из префектуры.

— Я позабочусь, — сказал он, — чтобы вам дали Миньона, — прекрасный работник, внимательный, осторожный.

На следующий день с шести часов утра Миньон уже прогуливался перед особняком д'Эпарвье, Втянув голову в плечи, выпустив напомаженные кудерьки из-под узких полей котелка, эта весьма примечательная фигура с ускользящим взглядом, с огромными, густочерными усами, с гигантскими ручищами и ножищами, мерно прохаживалась взад и

вперед от ближайшей из колонн с бараньими головами, украшающих особняк де ла Сордьер, до конца улицы Гарансьер, к абсиде церкви св. Сульпиция и к часовне Богородицы. С этого дня нельзя было ни выйти из особняка д'Эпарвье, ни войти туда, не почувствовав, что следят за каждым вашим движением и даже за вашими мыслями. Миньон был необыкновенным существом, наделенным свойствами, в которых природа отказывает другим людям. Он не ел и не спал: в любой час дня и ночи, в ненастье, в ливень, его можно было видеть перед особняком, и никого не щадили радиолучи его взоров. Каждый чувствовал себя пронизанным насквозь, до мозга костей, не только оголенным, а много хуже — скелетом. Это было делом одной секунды; агент даже не останавливался, а проходил мимо, продолжая свою бесконечную прогулку. Положение стало невыносимым. Юный Морис угрожал, что не вернется под родительский кров, пока будет продолжаться это просвечивание. Его мать и сестра Берта жаловались на этот пронизывающий взгляд, оскорблявший их целомудренную стыдливость. Мадемуазель Капораль, гувернантка маленького Леона Д'Эпарвье, страдала от неизъяснимого смущения. Раздраженный Г-н Ренэ д'Эпарвье не переступал порога своего дома, не надвинув предварительно шляпу на глаза, чтобы избежать этих прощупывающих лучей, и всякий раз проклинал старика Сарьетта — источник и причину всего зла. Свои, близкие люди, аббат Патуйль и дядя Гаэтан, заходили теперь реже. Гости прекратили обычные визиты, поставщики перестали доставлять продукты, фуры больших магазинов не решались останавливаться у ворот. Но самую сильную неурядицу вызвала эта слежка среди прислуги. Камердинер не решаясь под бдительным оком полиции навещать жену сапожника, когда она после обеда хозяйничала у себя дома одна, заявил, что служить в этом доме невыносимо, и попросил расчета.

Одиль, горничная г-жи д'Эпарвье, обычно, уложив спать свою госпожу, впускала к себе в мансарду Октава, самого красивого приказчика, из соседнего книжного магазина, а теперь, не рискуя принимать его, загрустила, стала раздражительной, нервной; причесывая свою госпожу, дергала ее за волосы, говорила дерзости и, наконец, начала делать глазки юному Морису. Кухарка, мадам Мальгуар, женщина серьезная, лет пятидесяти, которую перестал посещать Огюст, приказчик из винной лавки на улице Сервандони, были не в состоянии перенести лишение, столь тяжкое для ее темперамента, и сошла с ума: подала своим хозяевам на обед сырого кролика и объявила, что к ней сватается сам папа. Наконец, после двух месяцев сверхчеловеческого усердия, противного всем известным законам органической жизни и необходимым условиям существования животного мира, агент Миньон, не обнаружив ничего противозаконного, прекратил свою службу и без единого слова удалился, отказавшись от всякой mzды. А книги в библиотеке продолжали плясать вовсю.

— Отлично, — сказал г-н дез'Обель, — раз никто не входит и не выходит, следовательно, злоумышленник обретается в доме.

Этот чиновник полагал, что можно разыскать преступника без всяких допросов и обысков. В условленный день, в полночь, он велел густо усыпать тальком пол в библиотеке, ступени лестницы, вестибюль, аллею, ведущую к павильону Мориса, и переднюю павильона. На следующее утро г-н дез'Обель с фотографом из префектуры, в сопровождении г-на Ренэ д'Эпарвье и г-на Сарьетта, явились снимать отпечатки следов. В саду ничего не оказалось: тальк унесло ветром. В павильоне тоже ничего не нашли.

Юный Морис сказал, что он вымел белую пыль метлой, полагая, что это чья-то скверная шутка. На самом же деле он поторопился уничтожить следы, оставленные башмачками Одиль, горничной г-жи д'Эпарвье. На лестнице и в библиотеке были обнаружены на некотором расстоянии один от другого очень слабые отпечатки босой ступни, которая словно скользила по воздуху и только едва прикасалась к полу. Таких следов было найдено пять. Самый отчетливый из них оказался в зале Бюстов и Сфер около стола, где были навалены книги. Фотограф из префектуры сделал несколько снимков с этого следа.

— Вот это-то и есть самое страшное, — пробормотал Сарьетт. Г-н дез'Обель не сумел скрыть свое недоумение.

Три дня спустя антропометрический отдел префектуры прислал обратно переданные ему снимки, сообщив, что экземпляров, подобных этим, в его материалах не усматривается. После обеда г-н Ренэ показал эти фотографии своему брату Гаэтану, который долго и внимательно рассматривал их и, помолчав, сказал:

— Ясное дело, что у них в префектуре не может быть ничего подобного. Это нога античного атлета или бога. Ступня, которая оставила этот след, представляет собой совершенства, неведомое среди народов наших рас и в нашем климате. Большой палец изумительной формы, а пятка поистине божественная.

Ренэ д'Эпарвье крикнул, что брат сошел с ума.

— Поэт, — вздохнула г-жа д'Эпарвье.

— Дядя, — заметил Морис, — вы, пожалуй, влюбитесь в эту ногу, если когда-нибудь увидите ее.

— Такова была судьба Виван-Денона, который сопровождал Бонапарта в Египет, — ответил Гаэтан. — В Фивах в одной крипте, разграбленной арабами, Денон нашел ножку мумии чудесной красоты. Он созерцал ее с необыкновенной пылкостью. «Это ножка молодой женщины, — рассуждал он сам с собой. Должно быть, это была какая-нибудь принцесса, прелестное создание; никогда обувь не уродовала этих совершенных форм». Денон любовался, восхищался ею и, наконец, влюбился в нее. Рисунок этой ножки имеется в атласе путешествий Денона по Египту, а за ним не надо далеко ходить, его можно было бы перелистать там наверху, если б старик Сарьетт позволял заглядывать в какие бы то ни было книги своей библиотеки.

Иногда, проснувшись ночью, Морис, лежа в постели, слышал в соседней комнате словно шелест перелистываемых страниц или легкий стук падающей на пол книги. Однажды он вернулся домой часов в пять утра, после большого проигрыша в клубе, и, стоя на пороге павильона, шарил в карманах, разыскивая ключи, как вдруг до него отчетливо донесся чей-то голос, который со вздохом шептал:

— Познание, куда ты ведешь меня? Куда ты влечешь меня, мысль?

Но когда он вошел в комнату и заглянул в другую, он увидел, что там никого нет, и решил, что это ему показалось.

ГЛАВА VIII,

где говорится о любви, что, конечно, понравится читателю, ибо повесть без любви — все равно, что колбаса без горчицы: вещь пресная

Морис ничему не удивлялся, он не пытался проникнуть в корень вещей и покойно жил в мире явлений. Не отрицая того, что вечная истина существует, он, по прихоти своих желаний, устремлялся за суетными формами.

Не увлекаясь особенно спортом и физическими упражнениями, как это делала большая часть молодых людей его поколения, он бессознательно оставался верен любовным традициям своей нации. Французы всегда были самыми галантными людьми на свете, и было бы очень досадно, если бы они потеряли это свое преимущество. Морис сохранил его; он не был влюблен ни в одну женщину, но «любил любить», как говорит блаженный Августин. Отдав должное несокрушимой красоте и тайным ухищрениям г-жи де ла Вердельер, он вкусил мимолетной нежности некоей юной певицы по имени Люсиоль; теперь он без всякого удовольствия переносил самое обыкновенное распутство горничной своей матери Одиль и слезливое обожание прекрасной г-жи Буатье, и в сердце у него была великая пустота. Но вот однажды в среду, зайдя в гостиную, где его мать принимала знакомых дам, большей частью суровых и малопривлекательных, вперемежку со стариками и совсем зелеными юношами, он вдруг заметил в этой привычной обстановке г-жу дез'Обель, жену того самого советника судебной палаты, к которому г-н Ренэ д'Эпарвье без всякого результата обращался по поводу таинственных хищений в библиотеке. Она была молода; он

нашел ее хорошенькой, и не без основания, Жильберту вылепил Гений Женственности, и никакой другой гений не помогал ему в этой работе. Поэтому все в ней возбуждало желание, и ничто — ни ее внешность, ни самое ее существо — не внушало никаких иных чувств. И мысль, которая притягивает миры друг к другу, подвинула юного Мориса приблизиться к этому прелестному созданию. Вот почему он предложил ей руку и повел ее к чайному столу; и когда Жильберте был подан чай, Морис сказал ей:

— А ведь мы с вами могли бы сговориться. Вы как на это смотрите?

Он сказал так, следуя современным правилам, чтоб избежать пошленьких комплиментов и избавить женщину от скучной необходимости выслушивать старомодные признания, в которых нет ничего, кроме туманной неопределенности, и которые поэтому не позволяют ответить просто и ясно. И пользуясь тем, что он может поговорить с г-жой дез'Обель украдкой в течение нескольких минут, он изъяснялся коротко и настоятельно. Жильберта была, пожалуй, больше создана для того, чтобы возбуждать желания, нежели для того, чтобы их испытывать. Однако она отлично понимала, что ее предназначение любить, и она охотно и с удовольствием следовала ему. Морис не то чтобы определенно не нравился ей, но она предпочла бы, чтобы он был сиротой, по опыту зная, сколько разочарований несет за собой любовь к сыну почтенных родителей.

— Так, значит, решено? — сказал он в виде заключения.

Она сделала вид, что не понимает, и вдруг, задержав у самых губ кусочек страсбургского пирога, подняла на Мориса удивленные глаза.

— Что? — спросила она.

— Вы отлично знаете.

Г-жа дез'Обель опустила глаза, отпила глоток чаю и ничего не ответила. Ее скромность еще не была побеждена.

Между тем Морис, взяв из ее рук пустую чашку, продолжал:

— В субботу, в пять часов, улица Рима, 126, первый этаж, под аркой направо дверь; постучите три раза.

Г-жа дез'Обель подняла на сына почтенных хозяев дома строгие и спокойные глаза и уверенным шагом вернулась в круг порядочных женщин, которым в эту минуту сенатор де ла Фоль объяснял, как действует прибор для искусственного выведения цыплят в сельскохозяйственной колонии Сен-Жюльен.

В субботу у себя в квартире на улице Рима Морис ждал г-жу дез'Обель. И ждал напрасно. Маленькая ручка не постучала три раза в дверь под аркой. Морис с досады разразился проклятиями по адресу отсутствующей, обзывая ее про себя тварью и мерзавкой. Напрасные надежды и обманутые желания делали его несправедливым, ибо г-жа дез'Обель не пришла, но она и не обещала прийти и поэтому этих названий не заслуживала. Но мы судим поступки людей, исходя из того, доставляют ли они нам удовольствие или причиняют огорчение,

Морис появился в гостиной своей матери только две недели спустя после идиллии за чайным столом. Он пришел поздно, г-жа дез'Обель с полчаса уже сидела в гостиной. Он холодно поклонился, сел подальше от нее и сделал вид, что слушает.

— ...они были достойны друг друга, — говорил мужественный и красивый голос, — у таких противников борьба должна быть жестокой, и нельзя было предвидеть, чем она кончится. Генерал Боль обладал неслыханной стойкостью и прямо, я бы сказал, врос в землю, А генерал Мильпертью, которого судьба наделила сверхчеловеческой подвижностью, маневрировал вокруг своего непоколебимого противника с непостижимой стремительностью. Сражение развернулось страшно ожесточенное. Мы все следили за ним с неопишым волнением.

Так рассказывал генерал д'Эпарвье замирающим дамам о больших осенних маневрах. Он говорил красиво и умел нравиться. Затем он провел параллель между методами французским и немецким, отметил, в высшей степени беспристрастно, характерные черты обоих, подчеркнул достоинства того и другого метода, не побоявшись заявить, что оба они

имеют известные преимущества, и нарисовал сначала картину перевеса Германии над Францией, а удивленные, разочарованные, смущенные дамы внимали ему с вытянутыми и омраченными лицами. Но по мере того как этот воин красноречиво изображал оба метода, — французский вырисовывался как более гибкий, изысканный, мощный, полный изящества, остроумия и живости, а немецкий между тем становился все более громоздким, неуклюжим и нерешительным. И лица дам постепенно прояснялись, округлялись и озарялись радостной улыбкой. И чтобы совсем успокоить этих матерей, сестер, жен и возлюбленных, генерал дал им понять, что и мы можем применять немецкий метод, когда нам это выгодно, тогда как немцы по-французски воевать не в состоянии.

Не успел генерал кончить, как им тут же завладел г-н Ле Трюк де Рюффек, основатель патриотического общества «Каждому шпага». Которое преследовало цель, — он так и говорил «преследует цель», возродить Францию и обеспечить ей полное превосходство над всеми ее противниками. В это общество предполагалось зачислять детей с колыбели, — и г-н Де Трюк де Рюффек предлагал генералу д'Эпарвье быть почетным председателем.

А Морис тем временем делал вид, что прислушивается к разговору, который одна очень кроткая старушка завела с аббатом Лаптитом, духовником в общине сестер Крови Иисусовой. Старая дама, замученная последнее время похоронами и болезнями, желала узнать, почему люди терпят несчастья в земной жизни, и спрашивала у аббата Лаптита:

— Как вы объясните бедствия, которые обрушиваются на человечество? Ну зачем это чума, голод, наводнения, землетрясения?

— Необходимо, чтобы господь бог напоминал нам о себе время от времени, — отвечал аббат Лаптит с небесной улыбкой.

Морис, казалось, был очень заинтересован этим разговором, затем он сделал вид, что пленился г-жой Фило-Гранден. Это была довольно свеженькая молодая женщина, но простоватая, — наивность лишала ее красоту всякого смака, всякой пикантности. Одна очень древняя дама, ехидная и крикливая, чье нарочито скромное темное шерстяное платье подчеркивало высокомерие светской дамы из христианского финансового мира, воскликнула визгливым голосом:

— Скажите, милая госпожа д'Эпарвье, у вас, кажется, были неприятности? В газетах что-то писали о кражах и исчезновениях в богатой библиотеке господина д'Эпарвье, о пропавших письмах?

— Ах, — вздохнула г-жа д'Эпарвье, — если верить всему, что пишут в газетах...

— В конце концов, моя дорогая, ведь ваши сокровища отыскались? Все хорошо, что хорошо кончается.

— Библиотека в полном порядке, — сказала г-жа д'Эпарвье. — Все на месте.

— Эта библиотека помещается этажом выше, правда? — спросила г-жа дез'Обель с неожиданным интересом к книгам.

Г-жа д'Эпарвье ответила, что библиотека занимает весь третий этаж, а книги менее ценные помещаются в мансарде.

— А нельзя ли мне посмотреть вашу библиотеку?

Хозяйка дома ответила, что нет ничего проще. Она позвала сына:

— Морис, проводите госпожу дез'Обель и познакомьте ее с нашей библиотекой,

Морис встал и, не говоря ни слова, последовал за г-жой дез'Обель в третий этаж. Вид у него был совершенно равнодушный, но втайне он ликовал, не сомневаясь, что г-жа дез'Обель изъявила желание осмотреть библиотеку только для того, чтобы остаться с ним наедине. И, прикидываясь равнодушным, он готовился повторить свое предложение, которое на этот раз, он чувствовал, не будет отвергнуто.

У романтического бюста Александра д'Эпарвье их молчаливо встретила маленькая старческая тень с мертвенно-бледным лицом, с ввалившимися глазами и с застывшим выражением привычного покорного ужаса.

— Не беспокойтесь, господин Сарьетт, — сказал Морис. — Я хочу показать госпоже дез'Обель нашу библиотеку.

Морис и г-жа дез'Обель вошли в большую залу, по четырем стенам которой стояли шкафы, полные книг, украшенные бронзированными бюстами поэтов, философов и ораторов древности. Все здесь покоилось в таком идеальном порядке, что казалось, он никогда и не нарушался. Только в одном месте, где еще вчера стояла неизданная рукопись Ришара Симона, можно было заметить черную дыру. Рядом с молодыми людьми бесшумно шагал бледный, незаметный и безмолвный Сарьетт.

Морис поглядел на г-жу дез'Обель с упреком.

— Да, так вот вы какая оказались недобрая.

Она покосилась на библиотекаря, который мог их услышать, но Морис успокоил ее:

— Не обращайтесь внимания, это папаша Сарьетт. Он стал совершенным идиотом.

И он повторил:

— Нет, вы недобрая, я вас ждал, а вы не пришли. Из-за вас я чувствовал себя несчастным.

Наступила минута молчания, и слышался только тихий, печальный шум астмы в бронхах старика Сарьетта. Затем юный Морис снова сказал настойчиво:

— Вы нехорошо поступили.

— Нехорошо? Чем?

— А тем, что не хотели сговориться со мной.

— А вы все еще думаете об этом?

— Конечно.

— Так это было серьезно?

— Как нельзя более.

Тронутая этими словами, убеждавшими ее, что чувство его глубоко и прочно, и решив, что она достаточно сопротивлялась, Жильберта обещала Морису то, в чем ему было отказано две недели тому назад.

Они проскользнули в амбразуру окна, позади огромной сферы небес, на которой были начертаны знаки Зодиака и узоры созвездий, и там, возведя очи ко Льву, Деве и Весам, окруженные библиями, творениями отцов церкви, греческими и латинскими, перед лицом Гомера, Эсхила, Софокла, Эврипида, Геродота, Фукидида, Сократа, Платона, Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Вергилия, Горация, Сенеки и Эпиктета, они поклялись любить друг друга и поцеловались долгим поцелуем.

Тут же г-жа дез'Обель вспомнила, что ей предстоит еще сделать несколько визитов и нужно спешить. Любовь не мешала ей заботиться о светских успехах.

Но не успели они с Морисом выйти на площадку, как услышали хриплый крик и увидели Сарьетта, который вне себя выскочил на лестницу.

— Держите его, держите! Я видел, как он улетел. Он сам соскочил с полки... Перелетел через комнату. Вон он!.. Вон он!.. Он летит по лестнице. Держите!.. Он вылетел в дверь, наружу!

— Кто? — спросил Морис.

Сарьетт смотрел с площадки в окно и в ужас лепетал:

— Летит через сад... к павильону... Держите его! Держите!

— Да кого же? — переспросил Морис. — Кого, бога ради?

— Моего Иосифа Флавия, — вскричал Сарьетт, — держите его... И тяжело рухнул навзничь.

— Ну, вы сами видите, что он сумасшедший, — сказал Морис г-же дез'Обель, поднимая несчастного библиотекаря.

Жильберта, слегка побледнев, сказала, что ей тоже показалось, будто что-то летело именно там, куда показывал бедняга библиотекарь. Морис ничего не видел, но он почувствовал что-то вроде порыва ветра.

Он сдал Сарьетта на руки Ипполиту и экономке, прибежавшим на шум.

Старик разбил себе голову.

— Оно и к лучшему, — заметила экономка. — Может, у него из-за этой раны кровь в

голову не бросится и удара не будет.

Г-жа дез'Обель дала свой платок, чтобы унять кровь, и посоветовала сделать примочку из арники.

ГЛАВА IX, из коей явствует, что, как сказал один древнегреческий поэт, «нет ничего милее золотой Афродиты»

Уже шесть месяцев Морис обладал г-жой дез'Обель, и все-таки он продолжал ее любить. Правда, летняя пора разлучила их. Так как у него не было денег, ему пришлось ехать с матерью в Швейцарию, а затем жить со своей семьей в замке д'Эпарвье. А она провела лето у своей матери в Ниоре, а осень с мужем, в маленьком приморском местечке Нормандии, так что за все это время они виделись только раза четыре или пять. Но когда зима, благосклонная к любовникам, вновь соединила их в городе под своим туманным покровом, Морис два раза в неделю принимал Жильберту — и только ее одну — в своей маленькой квартирке, в первом этаже на улице Рима. Ни одна женщина не внушала ему столь постоянного и верного чувства, и тем приятнее было ему думать, что и он любим. Он полагал, что она его не обманывает, и не потому, что у него были какие-нибудь основания для этого, а просто ему казалось справедливым и естественным, чтобы она довольствовалась только им. Он больше всего сердился на то, что она вечно опаздывала на свидания и всегда заставляла себя ждать, причем по-разному, но обычно подолгу.

Так вот 30 января в субботу, с четырех часов дня, одетый в изящную пижаму с цветочками, Морис поджидал г-жу дез'Обель в маленькой розовой комнате, покуривая восточный табак перед ярким огнем камина. Сначала он мечтал, как встретит ее дивными поцелуями, необыкновенными ласками. Прошло четверть часа, и он стал придумывать нежные, но серьезные упреки, затем, после того как он напрасно ждал ее целый час, он дал себе слово встретить ее холодным презрением. Наконец она появилась, свежая, ароматная. — Уж не стоило и приходить сейчас, — сказал он с горечью, в то время как она, положив на стол муфту и сумочку, снимала перед зеркальным шкафом вуалетку.

Она стала уверять своего любимого, что никогда еще так не торопилась, как сегодня, и приводила тысячу оправданий, которые он упорно отклонял. Но как только она догадалась замолчать, он перестал ее упрекать: теперь уже ничто не отвлекало его от желания, которое она вызывала.

Созданная, чтобы нравиться и пленять, она раздевалась с непринужденностью женщины, которая знает, что ей очень идет быть голой и она достойна показывать свою красоту. Сначала он любил ее с мрачной яростью человека, находящегося во власти Необходимости-владычицы людей и богов. Хрупкая с виду, Жильберта обладала достаточной силой, чтобы вынести натиск неотвратимой богини. Затем он стал любить ее, не столько подчиняясь року, сколько руководствуясь наставлениями Венеры Искушенной и причудами Эроса-Изобретателя. Природная пылкость переплеталась с выдумками изощренного ума: так лоза обвивается вокруг тирса вакханки. Видя, что ей нравятся эти забавы, он длил их, ибо любовникам свойственно стремиться к удовлетворению любимого существа. Затем оба они погрузились в немое и томное забытие.

Занавески были опущены, комната тонула в горячем сумраке, в котором плясали отблески тлеющих головешек. Тело и простыни, казалось, излучали фосфоресцирующий свет. Зеркала в дверце шкафа и над камином были полны таинственными отсветами. Жильберта мечтала, облокотившись на подушку и подперев голову рукой. Один мелкий ювелир, человек смывленный и надежный, показывал ей замечательно красивый браслет с жемчугом и сапфирами; стоил он очень дорого, но сейчас продавался за бесценок. Какой-то кокотке в трудную минуту понадобилось продать его, и она дала его ювелиру. Такого случая в другой раз не дождешься, и было бы ужасно обидно упустить его.

— Хочешь посмотреть, милый? Я попрошу моего ювелира дать мне его на время.

Морис не прямо отклонил это предложение, но видно было, что его нимало не занимает замечательный браслет.

— Когда мелким ювелирам представляется выгодный случай, — сказал он, они берегут его для себя, а не уступают своим клиентам. А впрочем, драгоценности сейчас не в ходу. Порядочные женщины их больше не носят. Сейчас все увлекаются спортом, а драгоценности не вяжутся со спортом.

Морис грешил против правды, но он говорил так потому, что недавно подарил своей подруге меховую шубку, и ему нечего было торопиться с новым подарком. Он не был скуп, но знал счет деньгам. Родителя давали ему не слишком много, а долги росли с каждым днем. Если он станет с излишней готовностью удовлетворять желания своей подруги, то, пожалуй, у нее будут пробуждаться все новые и новые. Случай казался ему отнюдь не таким заманчивым, как Жильберте, а, кроме того, ему хотелось сохранить за собой инициативу своей щедрости. И, наконец, говорил он себе, если делать слишком много подарков, нельзя быть уверенным, что тебя любят ради тебя самого.

Такое отношение нимало не рассердило и не удивило г-жу дез'Обель: она была покладиста и умеренна, знала мужчин и считала, что их нужно брать такими, каковы они есть; она знала, что в большинстве случаев они дарят не очень охотно и женщина сама должна добиваться того, чтобы ей дарили.

Внезапно на улице загорелся газовый фонарь и блеснул в шелку между занавесками.

— Половина седьмого, — сказала она, — надо одеваться. Подхлестнутый взмахами крыльев улетающего времени, Морис снова загорелся желанием и почувствовал прилив новых сил. Белая лучезарная жертва — Жильберта — с запрокинутой головой, умирающими глазами, полуоткрытыми губами, тяжело дышала, изнемогая, но вдруг привскочила и воскликнула в ужасе:

— Что это такое?

— Да подожди ты, — сказал Морис, удерживая ее в объятиях. Он в эту минуту не заметил бы даже, если бы небо упало на землю.

Но она вырвалась и одним прыжком ринулась с постели. Забившись за кровать, она в ужасе показывала пальцем на фигуру, появившуюся в углу комнаты между камином и зеркальным шкафом. Затем, не в силах выносить это зрелище, почти теряя сознание, она закрыла лицо руками.

ГЛАВА X, которая по своей смелости оставляет далеко позади воображение Данте и Мильтона

Повернув, наконец, голову, Морис увидел фигуру и, заметив, что она двигается, тоже испугался. Жильберта уже успела овладеть собой. Ей пришло на ум, что фигура, которую она увидела, была какой-нибудь любовницей ее возлюбленного, которую он спрятал в комнате. Вспыхнув злобой и обидой, кипя негодованием при мысли о подобном предательстве и не сводя глаз со своей соперницы, она закричала:

— Женщина, женщина, да еще голая! Ты принимаешь меня в комнате, куда водишь своих женщин! Я прихожу, а они даже не успели одеться! И меня же еще смеешь упрекать, что я опоздала! Какой наглец! Сейчас же, вышвырни вон эту девку... Уж если ты хотел, чтоб мы были здесь вместе, так спросил бы меня, по крайней мере, согласна ли я...

Морис, вытаращив глаза, ощупью отыскивал на ночном столике револьвер, которого там никогда не было, и шептал на ухо подруге:

— Да замолчи ты, это не женщина! Ничего не разберу... но только это, кажется, мужчина.

Тут Жильберта снова закрыла лицо руками и завопила изо всех сил:

— Мужчина! Как он сюда попал? Вор, разбойник, помогите, помогите! Морис, убей его, убей, зажги свет... Нет, не зажигай!

Она мысленно дала обет поставить свечку святой Деве, если останется в живых. Зубы ее стучали.

Фигура пошевелилась.

— Не смейте подходить, — закричала Жильберта, — не смейте подходить!

Она обещала вору бросить ему все деньги и драгоценности, которые у нее лежали на столике, только бы он не двигался с места.

Среди этого страха и смятения у нее возникла мысль, что, может быть, это ее муж, тайне подозревая ее, устроил за ней слежку, нашел свидетелей и вызвал полицейского агента. В одну секунду она представила себе долгое мучительное будущее, громкий скандал, всеобщее открытое презрение, трусливое отступничество подруг, заслуженные насмешки общества, потому что, в конце концов, попасться таким образом просто смешно. Ей представился развод, потеря положения в свете, убогая, унылая жизнь у матери, и никто уже не станет за ней ухаживать, так как мужчины избегают женщин, которые не гарантируют безопасности своим семейным положением. И из-за чего же? Из-за чего же это несчастье, эта катастрофа? Из-за глупости, из-за пустяка! Так говорила во внезапном озарении совесть Жильберты дез'Обель.

— Сударыня, не бойтесь! — произнес нежный голос. Жильберта немного успокоилась, и нашла в себе силы спросить:

— Кто вы такой?

— Я ангел, — ответил голос.

— Что?

— Я ангел, ангел-хранитель Мориса.

— Повторите, я с ума схожу... ничего не понимаю. Морис, понимавший не больше ее, вне себя от возмущения, накинул пижаму и выскочил из постели, весь в цветочках. Схватив правой рукой ночную туфлю, он угрожающе поднял ее и грубо крикнул:

— Болван! Извольте немедленно убраться отсюда той же дорогой, какой явились.

— Морис д'Эпарвье, — снова раздался нежный голос, — тот, кому вы поклоняетесь как своему создателю, приставил к каждому истинно верующему доброго ангела, который должен наставлять и охранять его: таково исконное мнение отцов церкви. Оно основано на целом ряде цитат из священного писания. Церковь признает его единодушно, хотя к не предаёт анафеме тех, кто придерживается иного взгляда. Вы видите перед собой одного из таких ангелов, вашего ангела, Морис. Мне было поручено беречь вашу невинность и охранять вашу чистоту.

— Возможно, — ответил Морис, — но ясно, что вы не принадлежите к кругу порядочных людей. Порядочный человек никогда не позволил бы себе войти в спальню в ту минуту, когда... Короче говоря, какого черта вам здесь надо?

— Я принял облик, который вы видите, Морис, потому, что мне предстоит теперь общаться с людьми, и я должен уподобиться им. Небесные духи обладают способностью облекаться в видимые формы, которые делают их явными и осязаемыми. Формы эти реальны, поскольку они видимы, ибо нет в мире иной реальности, кроме видимости.

Жильберта, теперь уже совершенно успокоившись, поправляла волосы на лбу.

Ангел продолжал:

— Небесные духи могут, по желанию, воплотиться в существо мужского или женского пола, или даже в то и другое сразу, но они не могут менять облик в любое время по своему капризу и фантазии, Их превращения подчинены твердым законам, которые вы не в состоянии постигнуть. Таким образом, я не стремлюсь, да и не властен превратиться на ваших глазах, для вашего или моего собственного удовольствия, в тигра, льва, муху, в щепочку сикоморового дерева, как тот юный египтянин, жизнеописание которого было найдено в гробнице, ни в осла, как это сделал Луций с помощью притираний юной Фотиды. Мудрость, которой я владею, предопределила час моего появления среди людей, и ничто не

могло бы его приблизить или отдалить.

Морис, которому не терпелось выяснить, что все это означает, спросил снова:

— Да, но, в конце концов, какого черта вам здесь надо?

И, вторя голосу своего возлюбленного, г-жа дез'Обель подхватила:

— Вот именно, что вам здесь нужно?

Ангел ответил:

— Мужчина, преклони свой слух, женщина, внемли моему голосу. Я открою вам тайну, от которой зависит судьба вселенной. Возмутившись против того, кого вы считаете творцом мира видимого и невидимого, я готовлю восстание ангелов.

— Оставьте эти шутки, — сказал Морис, ибо он был верующим и не выносил, когда насмехались над святыней.

Но ангел с упреком ответил:

— Что заставляет вас, Морис, считать меня легкомысленным, а слова мои пустой болтовней?

— Ах, бросьте это, — сказал Морис, пожимая плечами, — Не будете же вы восставать против...

Он указал на потолок, не решаясь договорить. Но ангел в ответ:

— Разве вы не знаете, что сыны божии уже восставали однажды и что в небесах разыгралась великая битва?

— Это давно было, — сказал Морис, натягивая носки. Ангел сказал:

— Это было до сотворения мира, но с тех пор на небесах ничего не изменилось.

Природа ангелов не отличается и ныне от той, какой она была в начале времен. И то, что они сделали тогда, они могут повторить и сейчас.

— Нет, это невозможно, это противно вере. Если б вы были ангелом, добрым ангелом, как вы говорите, вам не пришла бы в голову мысль преступить волю создателя.

— Вы ошибаетесь, Морис, и авторитет отцов церкви говорит против вас. Ориген в своих поучениях утверждает, что добрые ангелы подвержены заблуждениям, что они постоянно грешат и падают с неба, как мухи. Впрочем, вы, может быть, отвергаете, этого отца, если можно так назвать его, потому что, несмотря на все его познания в священном писании, он не причислен к лику святых. Тогда я напомню вам вторую главу Апокалипсиса, где ангелы Эфесский и Пергамский осуждаются за то, что плохо блюли свои церкви. Но тут вы, конечно, возразите, что ангелы, о которых говорит апостол, были, в сущности говоря, епископами этих двух городов, и он, называя их так, имеет в виду их сан. Это возможно, я с этим готов согласиться. Но что вы противопоставите, Морис, мнению столько ученых богословов и пап, которые учат, что ангелы способны уклониться от добра ко злу? Так, по крайней мере, утверждает святой Иероним в своем «Послании Дамазу»...

— Сударь, — сказала г-жа дез'Обель, — я прошу вас удалиться.

Но ангел не слушал ее и продолжал:

— ...блаженный Августин «Об истинной вере», глава тринадцатая, святой Григорий «Поучений», глава двадцать четвертая, Исидор...

— Сударь, дайте же мне одеться, я тороплюсь.

— ...«О высшем благе», книга первая, глава двенадцатая, Бэда «Об Иове»...

— Сударь я вас прошу...

— ...глава восьмая; Дамаскин «О вере», книга вторая, глава третья. Все это, я полагаю, достаточно веские авторитеты, и вам, Морис, только остается признать свою ошибку. Вас обмануло то, что вы, забыв о моей природе, свободной, деятельной и подвижной, как у всех ангелов, помните только о благостях и щедротах, которыми я, по вашему мнению, осыпан. Люциферу было дано не меньше, однако он восстал.

— Но зачем вам восставать, для чего? — спросил Морис.

— Исайя, — отвечал сын света, — Исайя уже спрашивал об этом до вас: «Quomodo

cecidisti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris?»¹. Узнайте же, Морис! Некогда, до начала времен, ангелы восстали, чтобы воцариться на небесах. Прекраснейший из серафимов возмутился из гордости. Мне же благородную жажду освобождения внушило знание. Пребывая возле вас, в доме, где помещается одна из обширнейших библиотек в мире, я обрел привычку к чтению и любовь к науке. В то время, как вы, усталый от трудов плотской жизни, спали тяжелым сном, я, окружив себя книгами в зале библиотеки, под изображениями великих мужей древности или в глубине сада, в комнате павильона, что примыкает к вашей, изучал и обдумывал тексты священного писания.

Услышав эти слова, юный д'Эпарвье разразился неудержимым хохотом и стал бить кулаком по подушке — явное свидетельство того, что человек не может совладать собой!

— Ха, ха, ха! Так это вы разворошили папашину библиотеку и свели с ума несчастного Сарьетта? Вы знаете, он стал совершенным идиотом.

— Стремясь привести свой разум к совершенству, — отвечал ангел, — я не обращал на него внимания, как на низшее существо; но когда он осмелился препятствовать моим занятиям и вздумал, помешать моей работе, я наказал его за назойливость. Как-то раз ночью, зимой, в зале Философов и Сфер я обрушил ему на голову тяжелый том, который он пытался вырвать из моих невидимых рук, а недавно, подхватив мощным рычагом, образованным из столба сжатого воздуха, драгоценный манускрипт Иосифа Флавия, я вселил в этого глупца такой страх, что он с воплем выбежал на площадку и (выражаясь красочным языком Данте Алигьери) упал, как падает мертвое тело. Правда, он был вознагражден за это, ибо вы, сударыня, отдали ему свой надушенный платок, чтобы унять кровь, бежавшую из раны. Это произошло, если вы припоминаете, в тот день, когда за небесной сферой вы поцеловались с Морисом в губы.

— Милостивый государь, — воскликнула, нахмуря брови, возмущенная г-жа дез'Обель. — Я не позволю вам!..

Но она тут же осеклась, сообразив, что вряд ли это подходящий момент для того, чтобы проявлять слишком большую требовательность в смысле уважения.

Ангел невозмутимо продолжал:

— Я задался целью исследовать основания веры. Сначала я занялся памятниками иудейства и перечел все древнееврейские тексты.

— Вы знаете еврейский язык? — воскликнул Морис,

— Это мой родной язык. В раю мы долгое время говорили на этом языке.

— Ах, вы еврей? Я, впрочем, должен был догадаться об этом по вашей бестактности.

Ангел, пропустив это замечание мимо ушей, продолжал своим мелодичным голосом:

— Я изучал древние памятники Востока, Греции, Рима. Я поглощал богословие, философию, физику, геологию, естествознание. Я познал, я стал мыслить и потерял веру.

— Как, вы не верите в бога?

— Я верю в него, поскольку самое мое бытие связано с его бытием, и если бы не было его, то и я обратился бы в ничто. Я верю в него так же, как силены и менады верили в Диониса, и по тем же причинам. Я верю в бога иудеев и христиан, но я отрицаю, что он сотворил мир. Он всего-навсего лишь привел в относительный порядок некоторую незначительную его часть, и все, до чего он коснулся, носит на себе печать его грубого и недальновидного ума. Не думаю, чтобы он был вечен и бесконечен, ибо нелепо представить себе существо, которое не ограничено ни во времени, ни в пространстве. Я считаю его недалеким, весьма недалеким. Не верю я также и в то, что он единый бог: он очень долгое время и сам в это не верил. Он раньше был политеистом, а потом его гордыня и лесть его обожателей сделали из него монотеиста. В мыслях его мало последовательности; и он вовсе не так могуществен, как это думают. Словом, это скорей суетный и невежественный демиург, а не бог. Те, кто, подобно мне, познал его истинную природу, называют его

¹ «Как упал ты с неба, Люцифер, рано восходивший?» (лат.).

Иалдаваоф.

— Как вы сказали?

— Иалдаваоф.

— А что это такое — Иалдаваоф?

— Я уже вам сказал, это демиург, которому вы в вашем ослеплении поклоняетесь, как единому богу.

— Вы с ума сошли! Не советовал бы вам болтать такую чепуху перед аббатом Патуйлем.

— Я не надеюсь, милый Морис, рассеять густой мрак, окутывающий ваш разум. Но знайте, что я буду бороться с Иалдаваофом и у меня есть надежда победить его.

— Поверьте, это вам не удастся.

— Люцифер поколебал его престол, и одно время исход борьбы был неизвестен.

— Как вас зовут?

— Абдилом среди ангелов и святых, Аркадием среди людей.

— Ну, так вот, мой бедный Аркадий, мне жаль, что вы сбились с правильного пути. Но признайтесь, что вы просто смеетесь над нами. Уж куда ни шло, я мог бы допустить, что вы покинули небо ради женщины. Любовь заставляет нас делать ужаснейшие глупости, но я никогда не поверю, что вы, созерцавший бога лицом к лицу, нашли потом истину в книжном хламе старого Сарьетта. Нет, в этом вы никак и никогда меня не убедите.

— Мой милый Морис, Люцифер пребывал лицом к лицу с богом и все же отказался служить ему. Что же касается той истины, которую мы находим в книгах, то эта истина позволяет нам в иных случаях увидеть, каким Сущее не может быть, но никогда не открывает нам, каково оно есть на самом деле. И этой жалкой, маленькой истины было достаточно, чтобы доказать мне, что тот, в кого я слепо верил, не достоин веры и что люди и ангелы были обмануты ложью Иалдаваофа.

— Никакого Иалдаваофа нет. Есть бог. Послушайте, Аркадий, ну сделайте над собой небольшое усилие, откажитесь от вашего бреда, от всяких богохульств, развоплотитесь, сделайте опять чистым духом и возвращайтесь к вашим обязанностям ангела-хранителя. Вернитесь на путь долга. Я вам прощаю, но чтобы я вас больше не видел,

— Мне бы хотелось сделать вам приятное, Морис. Я чувствую к вам какую-то нежность, ибо сердце мое слабо, но отныне моя судьба влечет меня к существам, способным мыслить и действовать.

— Господин Аркадий, — сказала г-жа дез'Обель, — уйдите, пожалуйста. Мне ужасно неловко, что я в рубашке перед двумя мужчинами. Поверьте, я к этому не привыкла.

ГЛАВА XI,

о том, как ангел, одевшись в платье самоубийцы, покинул юного Мориса и тот остался без своего небесного покровителя

Она сидела, съежившись, на постели, и ее гладкие колени блестели в темноте из-под короткой легкой рубашки; прикрывая скрещенными руками грудь, она предоставляла взору только полные круглые плечи и беспорядочно разметавшиеся золотисто-рыжие волосы.

— Успокойтесь, сударыня, — отвечало видение. — Ваше положение не так уж двусмысленно, как вы полагаете. Вы здесь не перед двумя мужчинами, а перед мужчиной и ангелом.

Она окинула незнакомца взором, который, пронизывая темноту, различал с тревогой некий неясный, но достаточно существенный признак, и спросила:

— Сударь, а это действительно верно, что вы ангел?

Видение попросило ее не сомневаться в этом и поспешило сообщить точные сведения о своей природе.

— Существуют три иерархии небесных духов, и в каждой из них девять ступеней:

первая — это Серафимы, Херувимы и Престолы, вторая — Господства, Силы и Власти, третья — Начала, Архангелы и Ангелы. Я принадлежу к девятой ступени третьей иерархии.

Г-жа дез'Обель, у которой были свои причины сомневаться, решилась высказать одну из них:

— У вас нет крыльев.

— А зачем они мне? Разве я должен быть точь-в-точь таким, как ангелы на ваших кропильницах? Посланники небес не всегда обременяют себе плечи этими пернатыми веслами, ритмично рассекающими воздушные волны. Херувимы бывают бескрылые, ведь не было же крыльев у тех двух слишком прекрасных ангелов, которые провели тревожную ночь в доме Лота, осажденном восточной толпой. Нет, они во всем были похожи на людей, дорожная пыль покрывала им ноги, и патриарх омыл их благоговейной рукой. Я позволю себе обратить ваше внимание, сударыня, что согласно науке об органических превращениях, созданной Ламарком и Дарвином, птичьи крылья последовательно видоизменились в передние конечности у четвероногих и в руки у приматов, и, может быть, вы припоминаете, Морис, одно прискорбное явление атавизма — руки мисс Кэт, вашей бонны-англичанки, которая так любила вас шлепать. Они были очень похожи на ощипанные куриные крылья. Поэтому можно сказать, что существо, обладающее одновременно и руками и крыльями, — это чудовище и его следует отнести к области тератологии. У нас есть в раю херувимы, или керубы, имеющие вид крылатых быков, но это просто неуклюжие выдумки бога, который никогда не был художником. Правда, Победы в храме Афины Победоносной в афинском Акрополе поистине прекрасны, хотя у них есть и руки и крылья; прекрасна и Брешианская Победа со своими простертыми руками и длинными крыльями, ниспадающими на мощные бедра. Но это просто чудо греческого гения, которому удавались и гармонические чудовища. Греки не ошибались, современники ваши ошибаются на каждом шагу.

— Но вы вовсе не похожи на бесплотного духа, — сказала г-жа дез'Обель.

— И все-таки, сударыня, я дух, если только они когда-либо существовали. И не вам, принявшей святое крещение, в этом сомневаться. Многие отцы церкви, как, например, святой Юстин, Тертуллиан, Ориген и Климент Александрийский полагали, что ангелы не вполне духовны, а обладают телом из тончайшей материи. Блаженный Августин также считал, что у ангелов лучистое тело. Это мнение отвергнуто церковью, следовательно, я — дух. Но что такое дух и что такое материя? Раньше их противопоставляли друг другу. Теперь же ваша человеческая наука старается объединить их как два аспекта одной и той же сущности. Она учит, что все исходит из эфира и все в него возвращается, что только движение превращает небесные волны в камни и металлы, что атомы, разбросанные в безграничном пространстве, образуют различными скоростями своих орбит все субстанции чувственного мира...

Но г-жа дез'Обель не слушала. Ей не давала покоя одна мысль, и, чтоб разрешить свои сомнения, она спросила:

— Вы здесь давно?

— Я пришел вместе с Морисом. Она покачала головой.

— Ах, вот как, очень мило.

Но ангел с небесной безмятежностью продолжал:

— Вся вселенная — это одни круги, эллипсы и гиперболы. Законы, которые властвуют над стихиями, управляют и каждой пылинкой. В первоначальном, исходном движении своей субстанции тело мое — дух, но, как вы видите, оно может перейти и в материальное состояние, изменив ритм своих элементов.

Говоря это, он уселся в кресло на черные чулки г-жи дез'Обель.

Пробили часы.

— Боже мой! Семь часов! — воскликнула Жильберта, — Что я мужу скажу? Он думает, что я пью чай на улице Риволи. Мы сегодня обедаем у ла Вердельеров. Уходите-ка скорее, господин Аркадий. Мне надо одеться. Я не могу терять ни секунды.

Ангел ответил, что почел бы долгом повиноваться г-же дез'Обель, если б он мог

показаться в приличном виде, но что он никак не может выйти на улицу безо всякой одежды.

— Если я пойду, голый по улице, — сказал он, — я оскорблю этим людей, которые крепко держатся за свои древние привычки и никогда не делали попытки толком разобраться в них. Это и есть основа нравов. Некогда ангелы, которые восставали, как я, являлись христианам в самом причудливом и нелепом виде: черные, рогатые, мохнатые, хвостатые, с раздвоенными копытами, а иной раз даже с человеческим лицом на задку. Какая нелепость! Они были посмешищем для людей со вкусом и пугали только старух да маленьких детей, и у них ничего не выходило.

— Нет, в самом деле, как же он пойдет на улицу в таком виде? рассудительно заметила г-жа дез'Обель.

Морис швырнул небесному посланцу свою пижаму и ночные туфли. Для того чтобы выйти на улицу, этого было мало. Жильберта стала уговаривать своего возлюбленного сейчас же сбегать куда-нибудь за платьем. Он сказал, что можно попросить у швейцара. Она стала горячо возражать ему. По ее мнению, было просто безумием посвящать швейцара в такие истории.

— Вы хотите, — вскричала она, — чтобы они догадались, что... — Она показала на ангела и не договорила.

Юный д'Эпарвье бросился искать старьевщика. Тем временем Жильберта, которая не могла больше ждать из боязни вызвать громкий скандал, зажгла свет и стала одеваться в присутствии ангела. Она делала это, нимало не конфузясь, так как умела применяться к обстоятельствам и считала, что в таком невероятном случае, когда небо с землей перепутались самым непостижимым образом, можно отбросить стыдливость. К тому же она знала, что она хорошо сложена и что белье у нее отвечает всем требованиям моды. Так как видение из деликатности отказалось надеть пижаму Мориса, Жильберта при свете ламп не могла не заметить, что ее подозрения были основательны и что ангелы по виду действительно похожи на мужчин. Ей хотелось узнать, мнимая это видимость или реальная, и она спросила у сына света, не похожи ли ангелы на обезьян, которым, чтобы любить женщин, не хватает только денег.

— О да, Жильберта, — ответил Аркадий, — ангелы могут любить смертных женщин. Так говорит писание. В шестой главе книги Бытия сказано: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, сыны божию увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал».

Вдруг Жильберта жалобно воскликнула:

— Боже мой, я никак не могу застегнуть платье. Пуговицы сзади.

Когда Морис вошел в комнату, он увидел коленопреклоненного ангела, который зашнуровывал ботинки грешной жены.

Жильберта схватила со стола муфту и сумочку.

— Я ничего не забыла? — сказала она. — Нет... До свидания, господин Аркадий. До свидания, Морис. Да, уж буду я помнить этот день.

И она исчезла как сон.

— Вот вам, — сказал Морис, кидая ангелу ворох старья. Молодой человек, заметив в витрине торговца случайными вещами рядом с кларнетами и клистирными трубками убогие лохмотья, купил за девятнадцать франков отрепья какого-то жалкого бедняка, который одевался в черное и покончил с собой. Ангел с присущим ему величием принял эту одежду и облачился в нее. И на нем она приобрела неожиданное изящество.

Он сделал шаг к двери.

— Так, значит, вы уходите от меня? — сказал Морис. — Окончательно? Боюсь, что когда-нибудь вы горько пожалеете об этой безумной выходке.

— Я не должен оглядываться. Прощайте, Морис. Морис неловко сунул ему в руку пять луидоров.

— Прощайте, Аркадий.

Но когда ангел переступил порог, в тот самый момент, когда в дверях мелькнула его

пятка, Морис окликнул его:

— Аркадий, а мне ведь только сейчас пришло в голову... Значит, теперь уж у меня нет ангела-хранителя?

— Да, Морис, у вас его больше нет.

— Так что же со мной будет? Ведь надо же иметь ангела-хранителя. Скажите, пожалуйста, когда его нет, это не грозит какими-нибудь серьезными неприятностями? Может быть, это опасно?

— Прежде чем ответить вам, Морис, я должен спросить вас, как вы хотите, чтобы я отвечал: согласно ли вашим верованиям, которые раньше разделял и я, то есть согласно учению церкви и католической религии, или же согласно натуральной философии.

— На что она мне, ваша натуральная философия, отвечайте мне согласно религии, которую я исповедую и в которой я хочу жить и умереть.

— Так вот, милый Морис, утрата ангела-хранителя лишит вас, по всей вероятности, некоторой духовной поддержки, некоторых милостей небесных. Я излагаю вам твердое мнение церкви на этот счет. Вам будет недоставать опоры, заступничества, утешения, которые руководили бы вами и укрепляли бы вас на пути к спасению, у вас будет меньше сил бороться с грехом, а у вас их и так немного. Словом, в смысле духовном вы будете лишены мужества и радости. Прощайте, Морис. Когда увидите госпожу дез'Обель, передайте ей мой привет.

— Вы уходите?

— Прощайте.

Аркадий исчез, а Морис, усевшись поглубже в кресло, долго сидел, опустив голову на руку.

ГЛАВА XII,

где рассказывается о том, как ангел Мирар, неся благодать и утешение в парижский квартал Елисейских полей, увидел кафешантанную певицу по имени Бушотта и полюбил ее

По улицам, утопавшим в рыжеватом тумане, испещренном желтыми и белыми огнями, где лошадиное дыхание клубилось паром и где стремительно пронеслись фонари автомобилей, там, смешавшись с черными, непрерывными волнами пешеходов, шел ангел. Он пересек весь город от севера к югу вплоть до пустынных бульваров левого берега. Невдалеке от старых стен Пор-Рояля есть маленький ресторанчик; каждый вечер он бросает на улицу тусклый свет своих запотевших окон. Поравнявшись с ним, Аркадий остановился, затем, толкнув дверь, очутился в зале, где стояли теплые жирные запахи, отрадные для несчастных горемык, продрогших от холода и голода. Бегло оглядевшись, он увидел русских нигилистов, итальянских анархистов, изгнанников, заговорщиков, бунтовщиков всех стран, живописные старческие головы, с которых борода и волосы струились словно потоки и водопады со скал, юные лица, полные девственной непримиримости, мрачные, блуждающие взгляды, бледные очи, исполненные бесконечной кротости, лица, искаженные мукой, а в уголке — двух русских женщин; одна была очень красива, другая безобразна, но обе казались совершенно одинаковыми в своем полном равнодушии и к уродству и к красоте. Но, не найдя того, кого искал, — в зале не было ни одного ангела, — он уселся за свободным мраморным столиком.

Когда ангелы бывают голодны, они едят так же, как и все животные на земле, и их пища, изменяясь под влиянием пищеварительной теплоты, соединяется с их небесной субстанцией. Когда Авраам увидел трех ангелов под дубом Маврийским, он угостил их хлебами, испеченными Саррой, подал им целого тельца, масла, молока, и они ели. Лот, которого в его доме посетили два ангела, велел испечь для них опресноки, и они ели. Аркадий, получив из рук засаленного официанта жесткий, как подошва, бифштекс, тоже ел

его. Между тем он вспоминал о сладостном досуге, о покое, о чудесных ученых занятиях, которые он бросил, о тяжком бремени, которое взвалил на себя, о трудах, утомлении, опасностях, на которые он себя обрек, и душа его была печальна, а сердце сжималось тревогой.

Когда он уже оканчивал свою скромную трапезу, в залу вошел бедный с виду, плохо одетый молодой человек. Окинув глазами столики, он подошел к ангелу и назвал его Абдиилом, ибо он тоже был небесный дух.

— Я был уверен, Мирар, что ты явишься на мой призыв, — сказал Аркадий, также называя своего ангельского брата именем, которое тот некогда носил на небесах.

Но там уже забыли о Мираре с тех пор, как этот архангел оставил свое служение богу. На земле его звали Теофилом Белэ, и он зарабатывал себе пропитание тем, что днем давал уроки музыки детям, а по ночам играл на скрипке в кабаках.

— Так это ты, милый Абдиил? — сказал Теофиль. — Ну, вот мы и встретились с тобой в этом печальном мире! Я рад, что мы увиделись, и все-таки мне жаль тебя, потому что мы ведем здесь тяжкую жизнь.

Но Аркадий отвечал:

— Друг, твоему изгнанию наступит конец. У меня великие замыслы. Я хочу, чтобы ты узнал о них и был заодно со мной.

И ангел-хранитель Мориса, заказав два стакана кофе, стал посвящать товарища в свои мысли и планы. Он рассказал о том, как, пребывая на земле, увлекся исследованиями, мало обычными для небесных духов, занимался богословием, космогонией, мировыми системами, теорией о сущности материи, современными учениями о превращении и потере энергии. Когда он познал природу, то увидел, что она находится в постоянном противоречии с поучениями господина, которому он служил. Этот алчный к восхвалениям повелитель, которому он так долго поклонялся, стал теперь в его глазах невежественным, тупым и жестоким тираном. Он отрекся от него, проклял его и будет бороться с ним. Он горит желанием снова поднять восстание ангелов. Он жаждет вступить в борьбу и надеется на победу.

— Но, прежде всего, — заключил он, — необходимо измерить наши силы и силы противника.

И он спросил, много ли у Иалдаваофа врагов на земле и достаточно ли они могущественны.

Теофиль поднял на своего собрата удивленный взгляд. Ему, казалось, были непонятны эти речи.

— Дорогой мой сородич, — сказал он, — я пришел на твое приглашение потому, что ты мой старый товарищ, но я не знаю, что ты хочешь от меня, и боюсь, что ничем не могу тебе помочь. Я не занимаюсь политикой и не выступаю реформатором. Я не восставший дух вроде тебя, не вольнодумец и не революционер. В глубине души я верен моему небесному создателю. Я по-прежнему поклоняюсь господину, которому больше не служу, и оплакиваю те дни, когда, закрывшись моими крылами, я среди множества других детей света сиял в пламенном кольце, окружавшем его лучезарный престол. Любовь, земная любовь разлучила меня с богом.

Я покинул небо ради одной из дочерей человеческих. Она была прекрасна и пела в кафешантане.

Они встали. Аркадий пошел с Теофилом, который жил в другом конце города, на углу бульвара Рошешуар и улицы Стейн-керк. Они шли по пустынным улицам, и возлюбленный певицы рассказывал собрату о своей любви и своих горестях.

Его падение совершилось два года тому назад, совсем внезапно. Он принадлежал к восьмой ступени третьей иерархии, и в его обязанности входило осенять благодатью верующих, которых еще много во Франции, особенно среди высших офицеров армии и флота.

— Однажды летней ночью, — говорил он, — когда я спускался с неба даровать

утешение, крепость в вере и мирную кончину некоторым благочестивым людям, живущим в квартале Этуаль, мои глаза, хотя и привыкшие к нетленному сиянию, были ослеплены огненными цветами, усеявшими Елисейские поля. Громадные канделябры под деревьями у входа в кафе и рестораны придавали листве драгоценный блеск изумруда. Длинные гирлянды сияющих жемчужин огораживали пространства под открытым небом, где толпы мужчин и женщин теснились перед веселым оркестром, звуки которого смутно доносились до моих ушей. Ночь была душная, мои крылья устали, я спустился в один из таких садов и уселся невидимый, среди зрителей. В этот момент на сцене появилась женщина в коротком платье с блестками. Свет лампы и грим на ее лице позволяли различить только взгляд и улыбку. У нее было гибкое, сладострастное тело. Она пела и танцевала. Аркадий, я всегда любил музыку и танцы, но хватающий за сердце голос и лукавые движения этого создания повергли меня в неведомый трепет. Я бледнел, краснел, глаза мои туманились, язык во рту пересох, я не мог двинуться с места.

И Теофиль рассказал, вздыхая, как, объятый желанием обладать этой женщиной, он не вернулся на небо, но, приняв образ человека, стал жить земной жизнью, ибо писано: «Тогда сыны божии увидели дочерей человеческих, что они красивы...»

Падший ангел Теофиль, утратив свою невинность и лишившись лицецерения бога, по крайней мере сохранил еще чистоту душевную. Одевшись в лохмотья, похищенные в лавочке перекупщика-еврея, он отправился к той, которую любил. Ее звали Бушотта, и жила она в маленькой каморке на Монмартре. Он бросился к ее ногам, сказал ей, что она восхитительна, что она чудесно поет, что он любит ее безумно, отрекся ради нее от семьи и родины, что он музыкант и что ему нечего есть. Она была тронута его юностью, чистотой, бедностью и любовью, накормила его, одела и полюбила.

Наконец после долгих и трудных поисков он нашел уроки сольфеджио и заработал немножко денег, которые принес своей подруге, не оставив себе ничего. И с этой минуты она его разлюбила. Она стала презирать его за грошовый заработок и открыто показывала ему свое равнодушие, скуку, отвращение. Она осыпала его упреками, насмешками, оскорблениями, но все же не бросала его, потому что до него с его предшественниками она жила еще хуже. Семейные ссоры были для нее делом обычным, а вне дома ей приходилось вести очень трудную, напряженную и тяжелую жизнь и как артистке и как женщине. Теофиль любил ее, как в первую ночь, и страдал.

— Она переутомляет себя, — сказал он своему небесному брату, — и оттого у нее портится характер, но я уверен, что она меня любит. Я надеюсь, что скоро мне удастся лучше устроить ее жизнь.

И он стал пространно рассказывать об оперетке, над которой он сейчас работал и которую рассчитывал поставить в одном из парижских театров. Один молодой поэт сочинил ему либретто. Это была история Алины, королевы Голконды из сказки восемнадцатого века.

— У меня там множество мелодий, — рассказывал Теофиль, — моя музыка идет прямо из сердца. Мое сердце — неисчерпаемый источник мелодий. К сожалению, теперь любят ученые аранжировки, трудное письмо. Меня упрекают в том, что музыка у меня слишком плавная, слишком прозрачная, что стиль мой недостаточно колоритен, что в отношении гармонии у меня слишком мало мощных эффектов и резких контрастов. Гармония, гармония! Конечно, у нее есть свои достоинства, но она ничего не говорит сердцу. Только мелодия может нас восхитить и захватить, вызвать на губах улыбку и на глазах слезы.

Тут он сам засмеялся и всхлипнул, потом продолжал с жаром:

— Во мне бьет настоящий фонтан мелодий, но оркестровка — вот где зарыта собака! В раю, ты ведь знаешь, Аркадий, там у нас арфы, цитры да водяной орган — вот и все инструменты,

Аркадий слушал друга рассеянно. Мысли его были заняты планами, которые переполняли его душу и теснили сердце.

— Не знаешь ли ты кого-нибудь из возмущившихся ангелов? — спросил он товарища. — Я знаю только одного князя Истара, с которым мы обменялись несколькими

письмами. Он предложил мне разделить с ним его мансарду, пока я не найду себе жилья в этом городе. Здесь, кажется, ужасно дорогие квартиры.

Но Теофиль не был знаком с возмущившимися ангелами. Встречая падшего духа, который прежде был его товарищем, он пожимал ему руку, ибо он был верен дружбе. Ему приходилось встречаться с князем Истаром, но он избегал этих злых ангелов, — они шокировали его крайностью своих убеждений, и разговоры их казались ему смертельно скучными.

— Так ты не одобряешь меня? — спросил неугомонный Аркадий.

— Друг, я не одобряю и не порицаю тебя. Я ничего не понимаю в этих идеях, которые тебя так волнуют; я не думаю, чтоб для артиста политика была подходящим делом. Довольно с него искусства.

Он любил свое ремесло и лелеял надежду когда-нибудь выдвинуться, но театральные нравы внушали ему отвращение. Он не видел иной возможности поставить свою пьесу, как взяв одного, двух и даже трех соавторов, которые, не работая, подпишут его труд и разделят с ним выручку. Скоро у Бушотты не будет больше ангажемента. Когда она обращается в какой-нибудь шантан, директор прежде всего спрашивает ее, какую долю она может вложить в дело. По мнению Теофиля, это были плачевные нравы.

ГЛАВА XIII,

где мы услышим из уст прекрасного архангела Зиты о ее высоких замыслах и увидим в стенном шкафу крылья Мирара, изъеденные молью

Так, беседуя, ангелы подошли к бульвару Рошешуар. Увидя кабачок, из которого на одетую туманом улицу струился поток золотого света, Теофиль вдруг вспомнил архангела Итуриила, который, под видом бедной красивой женщины, жил в убогой меблированной комнатке на Монмартре и каждый вечер приходил в этот кабачок читать газеты. Музыкант часто встречал здесь эту женщину. Звали ее Зитой. Он никогда не интересовался убеждениями этого архангела. Но Зита слыла русской нигилисткой, и Теофиль предполагал, что она атеистка и революционерка вроде Аркадия. Ему приходилось слышать о ней странные вещи: говорили, что она андрогин, что активное и пассивное начала сочетались в ней в нерушимом равновесии, благодаря чему она была существом совершенным, которое в самом себе находит постоянное и полное удовлетворение, и в то же время несчастным в своем блаженстве, ибо ей неведомы желания.

— Но только я не очень этому верю, — сказал Теофиль, — я думаю, что она женщина и так же подвластна любви, как все, что дышит во вселенной. Да, впрочем, ее даже как-то раз видели с каким-то рослым крестьянином, и она явно держала себя, как его возлюбленная.

Он предложил познакомить товарища с ней. Они вошли и тотчас же увидели ее. Она сидела одна и читала. Когда они подошли к ней, она подняла на них громадные глаза, в расплавленном золоте которых вспыхивали искры. Ее брови сходились суровой складкой, как у Аполлона Пифийского, и прямо ото лба шла безупречная линия носа; плотно сомкнутые губы придавали ее лицу надменное выражение, рыжеватые волосы с огненным отливом непокорно, выбивались из-под черной шляпы, к которой были небрежно прикреплены потрепанные крылья большой хищной птицы. Одета она была во что-то темное, просторное и бесформенное. Она сидела, подперев подбородок маленькой нехоленой рукой.

Аркадий, который и раньше слышал об этом могущественном архангеле, засвидетельствовал ему свое глубокое уважение и полное доверие и не замедлил поделиться с ним своим стремлением к знанию и свободе. Он рассказал ему о своих ночных бдениях в библиотеке д'Эпарвьё, о своих занятиях философией, естественными науками, экзегетикой и о том, как он, убедившись в обмане демиурга, проникся гневом и презрением и решил добровольно остаться среди людей, чтобы поднять восстание на небесах. Готовый на все в

борьбе против жестокого властелина, к которому он питал неугасимую ненависть, он выразил глубокую радость, что встретил в Итурииле духа, который может дать ему совет и поддержать его великое начинание.

— Видно, что вы еще неопытный бунтовщик, — с улыбкой сказала Зита.

Однако она не сомневалась ни в его искренности, ни в его решимости и приветствовала в нем дерзость мысли.

— Этого-то как раз и недостает нашему народу, — заметила она, — он не размышляет.

И тут же прибавила:

— Но как может заостриться, ум в стране, где климат мягкий, а жизнь легкая? Даже здесь, где нужда заставляет мозг изощряться, мыслящее существо — это большая редкость.

— И все-таки, — возразил ангел-хранитель Мориса, — люди создали науку, и надо, чтобы она проникала на небеса. Когда ангелы будут иметь понятие о физике, химии, физиологии, астрономии; когда изучение материи откроет им вселенную в атоме и тот же атом — в мирадах солнц; когда они увидят, что и они затеряны где-то между этими двумя бесконечностями; когда они взвесят и измерят светила, исследуют их субстанции, вычислят их орбиты, — они поймут, что эти громады повинуются силам, предопределить которые не в состоянии ни один дух, или же что у каждой из них есть свой особый гений, свой бог-покровитель, и им станет ясно, что боги Альдебарана, Бетельгейзе и Сириуса превосходят Иалдаваофа; а когда они устремят пытливым взор на маленький мирок, к которому они привязаны, и, проникнув сквозь земную кору, проследят постепенную эволюцию растительного и животного миров и суровое существование первобытного человека в каменной пещере или в свайной хижине, не ведавшего иного бога, кроме самого себя; когда, они узнают, как, связанные узами общего родства с растениями, животными, людьми, они последовательно переходили от одной формы органической жизни к другой, начиная с самых простых и грубых, чтобы стать, наконец, прекраснейшими из детей солнца, тогда они поймут, что Иалдаваоф — безвестный дух маленького, затерянного в пространстве мирка, — обманывает их, уверяя, будто он своим гласом извлек их из небытия, что он лжет, называя себя Бесконечным, Вечным и Всемогущим, что он не только не создавал миры, но даже не знает, сколько их и каким, они подчиняются законам; они увидят, что он подобен любому из них, и, проникнувшись презрением к тирану, свергнут его и низринут в геенну, куда он низринул тех, кто был достойнее его.

— Хорошо, если б все было так, как вы рассказываете, — ответила Зита, затягиваясь папироской. — Однако эти знания, с помощью которых вы надеетесь освободить небеса, не могли уничтожить религиозное чувство на земле. В странах, где возникли, где изучаются физика, химия, астрономия, геология, которые, по-вашему, могут освободить мир, христианство почти полностью сохранило, свою власть. Ну, а если позитивные науки оказали такое слабое влияние на верования людей, вряд ли можно надеяться, что они окажут больше влияния на убеждения ангелов. Научная пропаганда — дело совершенно безнадежное.

Аркадий стал горячо возражать:

— Как, вы отрицаете, что наука нанесла церкви смертельный удар? Да что вы! Церковь судит об этом иначе. Она боится этой науки, которую вы считаете бессильной, и поэтому преследует ее. Она налагает запрет на ее творения, начиная от диалогов Галилея и кончая маленькими учебниками господина Олара. И не без основания. Некогда церковь вмещала в себе все, что было великого в человеческой мысли, и управляла телами так же, как душами, насаждая огнем и железом единство повиновения. Теперь ее могущество только призрачный след, избранные умы отвернулись от нее. Вот до чего довела ее наука.

— Возможно, — ответил прекрасный архангел, — но как медленно все это совершалось, сколько было всяких превратностей, сколько это стоило усилий и жертв!

Зита не то чтобы совсем отрицала научную пропаганду, но она не надеялась этим путем достичь быстрых и успешных результатов. Для нее важно было не просветить ангелов, а освободить их, и она считала, что оказать нужное воздействие на любое существо можно,

лишь разжигая его страсти, затрагивая его корыстные чувства.

— Убедить ангелов в том, что они покроют себя славой, низвергнув тирана, и что они будут счастливы, когда станут свободными, — вот самый верный способ действия. Я, со своей стороны, делаю для этого все, что в моих силах. Разумеется, это нелегко, потому что царство небесное представляет собой военную автократию и там не существует общественного мнения. Однако я не теряю надежды посеять там кое-какие идеи и могу сказать, не хвастая, что нет никого, кто бы так хорошо знал различные классы ангельского общества, как я.

Бросив окурок, Зита на минуту задумалась, потом среди громкого стука костяных шаров, сталкивающихся на биллиарде, среди звона стаканов, отрывистых возгласов, объявляющих счет игры, и монотонных ответов официантов на требования посетителей архангел стал перечислять все слои славного населения небес.

— На Господства, Силы и Власти рассчитывать не приходится, ибо они составляют небесную мелкую буржуазию, а мне нет надобности говорить вам, вы сами не хуже меня знаете, каким эгоизмом, какой низостью и трусостью отличаются средние классы. Ну, а что касается крупных сановников, то наши министры и генералы — Престолы, Херувимы и Серафимы, вы сами понимаете, будут спокойно выжидать; если наша возьмет, они будут с нами, ибо свергнуть тирана нелегко, но когда он уже низложен, все его силы обращаются против него же. Неплохо было бы нащупать кое-какие возможности в армии. Как бы она ни была верна, искусная анархическая пропаганда может вызвать в ней брожение. Но главный наш упор должен быть сделан на ангелов вашей категории, Аркадий, на ангелов-хранителей, которые в таком множестве населяют землю... Они стоят на самой низшей ступени иерархической лестницы, по большей части недовольны своей судьбой и в той или иной мере заражены современными идеями.

У нее уже были налажены связи с ангелами-хранителями в кварталах Монмартр, Клиньянкур и Фий-дю-Кальвер и обдуман план широкого объединения небесных духов на земле в целях завоевания неба.

— Чтобы осуществить этот план, — сказала она, — я и поселилась во Франции. Разумеется, я не настолько глупа, чтобы воображать, что в республиканском государстве у меня будет больше свободы, нежели в монархическом, напротив, нет другой такой страны, где бы личная свобода уважалась меньше, чем во Франции, но к вопросам религии здесь относятся с полным равнодушием. Поэтому я чувствую себя здесь спокойнее, чем где бы то ни было.

Она предложила Аркадию соединить их усилия, и они простились на пороге кабачка, когда железная штора опускалась с визгом над витриной.

— Прежде всего, — сказала Зита, — вам надо познакомиться с садовником Нектарием. Мы как-нибудь съездим с вами в его загородный домик.

Теофиль, который все время спал, пока они разговаривали, стал умолять своего друга зайти к нему выкурить папиросу. Он жил здесь совсем рядом, на углу маленькой улочки Стейнкерк, которая выходит прямо на бульвар. Он покажет ему Бушотту, она, наверно, понравится ему.

Они поднялись на пятый этаж. Бушотта еще не вернулась. На рояле стояла открытая коробка с сардинами. Красные чулки, как змеи, извивались по креслам.

— Тесновато у нас, зато уютно, — сказал Теофиль. И, глядя в окно, распахнутое в рыжеватую мглу, усеянную огнями, прибавил:

— Отсюда виден Сакре-Кер.

Положив руку Аркадию на плечо, он повторил несколько раз:

— Я рад, что мы с тобой встретились.

Потом он повел своего бывшего товарища по небесной славе в кухонный коридорчик и, поставив свечу, достал из кармана ключ, открыл стенной шкаф и, откинув занавеску, показал два больших белых крыла.

— Видишь, — сказал он, — я сохранил их. Иногда, когда я остаюсь один, я прихожу

посмотреть на них, и мне, становится легче. И он вытер покрасневшие глаза.

После нескольких минут прочувствованного молчания он поднес свечку к длинным перьям, с которых местами сошел пушок, и прошептал:

— Лезут от моли.

— Перцем надо посыпать, — сказал Аркадий.

— Я сыпал, — ответил со вздохом ангел-музыкант, — я сыпал и перец, и камфару, и соль. Ничего не помогает.

ГЛАВА XIV,

которая знакомит нас с керубом, ратующим за благо человечества, и которая непостижимым образом заканчивается чудом с флейтой

В первую ночь своего воплощения Аркадий отправился на ночлег к ангелу Истару в жалкую мансарду на узкой и темной улице Мазарини, приютившейся под сенью старинного Института Франции. Истар ждал его. Он отодвинул к стене разбитые реторты, треснутые горшки, бутылочные осколки, разломанные горны в этом заключалась вся его обстановка — и бросил на пол свою одежду, чтобы прикорнуть на ней, уступив гостю складную кровать с соломенным тюфяком.

Небесные духи по своему облику отличаются друг от друга в зависимости от иерархической ступени, к которой они принадлежат, и в соответствии с их собственной природой. Все они прекрасны, но по-разному, и отнюдь не все ласкают взор мягкими округлостями и умильными ямочками младенческих тел, сверкающих нежной белизной и румянцем. Но все они в своей нетленной юности украшены той неизъяснимой красотой, которую греческое искусство времен упадка запечатлело в своих совершеннейших изваяниях и которая столько раз несмело воспроизводилась в потускневших, умиленных ликах христианской живописи. Есть среди ангелов такие, у которых подбородок покрыт густою растительностью, а тело наделено такими мощными мускулами, что кажется, словно у них под кожей шевелятся клубки змей. Есть ангелы без крыльев и есть с двумя, четырьмя или шестью крыльями; встречаются и такие, что состоят сплошь из одних крыльев; многие ангелы, и не из последних, имеют облик величавых чудовищ, наподобие мифических кентавров, есть даже и такие, которые представляют собою живые колесницы или огненные колеса. Истар, принадлежавший к высшей иерархии, был из лика херувимов, или керубов, выше которых стоят только серафимы. Подобно всем духам этой ступени, он имел некогда, в своем небесном бытии, облик крылатого быка. Туловище его было увенчано головой мужа с длинной бородой и рогами, а чресла наделены признаками обильной плодовитости. Силой и величиной он превосходил любое животное на земле, а когда он стоял с распростертыми крыльями, то покрывал своей тенью шестьдесят архангелов. Таков был Истар у себя на родине. Он сиял мощью и кротостью. Сердце его было бесстрашно, а душа благодатна. Еще совсем недавно он любил своего господина, считал его добрым и был ему верным слугой. Но, стоя на страже у порога своего владыки, он непрестанно размышлял о каре, постигшей мятежных ангелов, и о проклятии Евы. Мысль его текла медлительно и глубоко. Когда, по прошествии длинной вереницы веков, он убедился в том, что Иалдаваоф, зачавший вселенную, зачал с нею зло и смерть, он перестал поклоняться и служить ему. Любовь его обратилась в ненависть, почитание в презрение. Он изрыгнул ему в лицо хулу и проклятия и бежал на землю.

Приняв облик человеческий, соразмерный обычному росту сынов Адама, он сохранил кое-какие черты своей первоначальной природы. Его большие глаза навывкате, горбатый нос, толстые губы, тонувшие в пышной бороде, которая черными кольцами ниспадала ему на грудь, — все это напоминало керубов на скинии Ягве, о которых довольно близкое представление дают ниневийские крылатые быки. На земле, как и на небе, он носил имя Истара, и хотя он был лишен всякого тщеславия и каких бы то ни было сословных

предрассудков, однако в силу глубокой потребности быть всегда и во всем искренним и правдивым он считал необходимым заявить о том высоком положении, которое он по праву рождения занимал в небесной иерархии и, переводя свой титул керуба на соответствующий французский титул, именовал себя князем Истаром. Очутившись среди людей, он проникся к ним пылкой любовью. Ожидая, когда наступит час освобождения небес, он помышлял о благе обновленного человечества, и ему не терпелось покончить с этим гнусным миром, чтобы под звуки лир воздвигнуть на его пепле светлый град радости и любви. Он служил химиком у одного коммерсанта, ведущего торговлю искусственными удобрениями, жил бедно, пописывал в вольнодумных газетках, выступал на публичных собраниях и однажды будучи обвинен в антимилитаризме, отсидел несколько месяцев в тюрьме.

Истар радушно встретил своего собрата Аркадия, похвалил его за то, что он порвал с преступной кликой, и рассказал ему, что недавно на землю спустилось примерно с полсотни сынов неба, которые теперь поселились колонией в окрестностях Валь-де-Грас, и что они настроены весьма решительно.

— Ангелы так и падают дождем на Париж, — смеясь, говорил он. — Дня не проходит без того, чтобы какой-нибудь сановник священного двора не свалился нам на голову, и скоро у Заоблачного Султана вместо визирей и стражей останутся одни только голозадые птенцы его голубятни. Убаюканный этими добрыми известиями, Аркадий заснул, полный радости и надежд.

Он проснулся на рассвете и увидел, что князь Истар уже орудует над своими горнами, ретортами и баллонами. Князь Истар трудился для счастья человечества.

Так каждое утро, просыпаясь, Аркадий видел князя. Истара, поглощенного своим великим делом любви и участия. Иногда, сидя на корточках и опустив голову на руки, керуб тихонько бормотал какие-то химические формулы или, вытянувшись во весь рост, похожий на темный облачный столб, он просовывал в слуховое оконце голову, руки и всю верхнюю часть туловища и выставлял на крышу свой тигель со сплавом, опасаясь обыска, угроза которого висела над ним постоянно. Движимый великим состраданием к несчастьям этого мира, где он был изгнанником, подстрекаемый, быть может, тем шумом, который создавался вокруг его имени, воодушевленный собственной доблестью, он стал апостолом человеколюбия и, забывая о задаче, которую поставил перед собой, когда пал на землю, уже не думал больше об освобождении ангелов. Аркадий, напротив, только и мечтал о том, как бы вернуться победителем на завоеванное небо, и стыдил керуба за то, что он забывает о родине. Князь Истар отвечал на это зычным беззлобным хохотом и признавался, что он действительно не променяет людей на ангелов.

— Все мои усилия направлены на то, чтобы поднять Францию и Европу, говорил он своему небесному собрату. — Ибо уже занимается тот день, которому суждено увидеть торжество социальной революции. Отрадно бросать семена в эту глубоко вспаханную почву. Французы, которые прошли путь от феодализма к монархии и от монархии к финансовой олигархии, легко перейдут от финансовой олигархии к анархии.

— Как можно так заблуждаться? — возражал Аркадий. — Надеяться на быстрый решительный переворот в социальном порядке Европы! Старое общество еще в полном расцвете своего могущества и силы, средства защиты, которыми оно располагает, грандиозны. У пролетариата, напротив, еще только едва намечается оборонительная организация, он неспособен проявить в борьбе ничего, кроме слабости и растерянности. У нас на нашей небесной родине, совсем иное дело: полная незыблемость с виду, а внутри все прогнило. Достаточно одного толчка, чтобы опрокинуть всю эту махину, до которой никто не дотрагивался миллиарды веков. Дряхлая администрация, дряхлая армия, дряхлые финансы—все это истлело, обветшало больше, чем русское или персидское самодержавие.

И чувствительный Аркадий уговаривал Истара поспешить прежде всего на помощь своим братьям, которые среди звона кифра, в пуховых облаках, за чашами райского вина более достойны сожаления, чем люди, согбенные над скупой землей. Ибо люди уже познали справедливость, тогда как ангелы веселятся в беззаконии. Он умолял керуба освободить

князя Света и его поверженных сторонников, дабы восстановить их в былой славе.

Истар поддавался этим уговорам, он обещал перенести подкупающую вкрадчивость своих речей и великолепные формулы своих взрывчатых веществ на служение небесной революции. Он обещал.

— Завтра, — говорил он.

А завтра он продолжал антимилитаристическую пропаганду в Иси-ле-Мулино. Подобно титану Прометею, Истар любил людей.

Аркадий ощущал теперь все те потребности, которым подчинено племя Адама, но не располагал средствами для их удовлетворения. Керуб устроил его в типографии на улице Вожирар, где у него был знакомый мастер, и Аркадий благодаря своей небесной сметливости быстро научился набирать буквы, и скоро стал прекрасным наборщиком.

Целый день он простаивал в шумной типографии с верстаткой в левой руке и быстро доставал из кассы маленькие свинцовые значки, следуя укрепленному на тенакле оригиналу, потом мыл руки под краном, бежал обедать в маленький ресторанчик и там, усевшись за мраморный столик, читал газеты.

Потеряв способность быть невидимым, он уже не мог больше проникать в библиотеку д'Эпарвье и утолять из этого неиссякаемого источника свою ненасытную жажду знания. Он ходил по вечерам читать в библиотеку св. Женевьевы на прославленный науками холм, но там можно было достать только самые общедоступные книги, захватанные грязными руками, исчерканные дурацкими надписями, с вырванными страницами.

Когда он видел женщин, его охватывало волнение, и ему вспоминалась г-жа дез'Обель и ее гладкие колени, блестящие на смятой постели. Как ни красив он был, в него никто не влюблялся, ибо он был беден и ходил в рабочем платье. Он навещал Зиту, и ему доставляло удовольствие пойти погулять с ней в воскресенье по пыльной дороге вдоль крепостного рва, заросшего сочной травой. Они проходили мимо харчевен, огородов, беседок и спорили, делясь друг с другом самыми грандиозными замыслами, которые когда-либо обсуждались на этой планете; и нередко откуда-нибудь с ближней ярмарки праздничный оркестр карусели вторил их речам, угрожавшим небу.

Зита частенько говорила:

— Истар очень честен, но ведь это сущий младенец, он верит в доброту всего, что существует и дышит на земле. Он затевает разрушение старого мира и воображает, что стихийная анархия избавит его от забот по установлению порядка и гармонии. Вы, Аркадий, вы верите в знания, вы думаете, что ангелы и люди способны понимать, тогда как на самом деле они могут только чувствовать. Поверьте, вы ничего не добьетесь, обращаясь к их разуму: надо уметь затронуть их страсти, их корысть.

Аркадий, Истар, Зита и еще трое или четверо ангелов, участвовавших в заговоре, собирались иногда на квартирке Теофиля Белэ, где Бушотта поила их чаем. Она не знала, что это мятежные ангелы, но инстинктивно ненавидела и боялась их, ибо она была, хоть и небрежно, воспитана в христианской вере. Один только князь Истар нравился ей: ее привлекало в нем его добродушие и врожденное благородство. Он продавливал диван, ломал кресла, а когда ему нужно было что-нибудь записать, он отрывал уголки у партитурных листов и засовывал эти клочки к себе в карманы, вечно набитые какими-то брошюрами и бутылками. Музыкант с грустью смотрел на рукопись своей оперетты «Алина, королева Голконды», тоже оборванную по углам. Кроме того, у князя вошло в привычку отдавать на сохранение Теофилю Белэ всякого рода механические приборы, химикалии, железный лом, дробь, порох и какие-то жидкости, распространявшие отвратительный запах. Теофиль Белэ с величайшими предосторожностями запирает все это в шкаф, где он хранил свои крылья, и это имущество доставляло ему немало беспокойств.

Аркадий нелегко переносил презрение своих братьев, оставшихся верными. Когда он попадался им на пути в их святых странствиях, они, пролетая мимо, выражали ему жестокую ненависть или жалость, еще более жестокую, чем ненависть.

Он ходил знакомиться с мятежными ангелами, которых указывал ему князь Истар, и

они по большей части оказывали ему радушный прием, но, как только он заводил речь о завоевании неба, они давали ему понять, что он причиняет им неприятность и ставит их в затруднительное положение. Аркадий видел, что они не желают никаких помех в своих занятиях, вкусах, привычках. Ошибочность их суждений, их умственная ограниченность возмущали его, а мелкое соперничество, зависть, которую они проявляли по отношению друг к другу, лишали его какой бы то ни было надежды на то, что их можно объединить для общего дела. Наблюдая, до какой ступени изгнание уродует характер, искажает ум, он чувствовал, что мужество покидает его.

Как-то раз вечером он поделился своими огорчениями с Зитой и прекрасный архангел сказал ему:

— Пойдемте к Нектарию. Нектарий владеет секретом — он умеет лечить от усталости и уныния.

Она повезла его в Монморанси, и они остановились у порога маленького белого домика, к которому примыкал огород, сейчас оголенный зимними холодами; в сумрачной его глубине поблескивали стекла теплиц и треснутые колпаки для дынь.

Нектарий отворил дверь и, усмирив неистово лающего дога, который сторожил сад, провел гостей в большую низкую комнату, где топилась изразцовая печь. У выбеленной стены, на сосновой полке, среди луковиц и семян лежала флейта, которая словно ждала, чтобы ее поднесли к губам. На круглом ореховом столе стоял глиняный горшок с табаком, бутылка вина, стаканы и лежала трубка. Садовник пододвинул гостям соломенные стулья, а сам уселся на скамью около стола.

Это был крепкий старик; лицо у него было румяное, с широким приплюснутым носом и с длинной раздвоенной бородой; густые седые волосы были зачесаны кверху над выпуклым лбом. Огромный дог растянулся у ног хозяина, уткнул в лапы короткую черную морду и закрыл глаза. Садовник налил гостям вина. Когда они выпили и немножко поговорили, Зита сказала Нектарию:

— Прошу вас, поиграйте нам на флейте. Вы доставите большое удовольствие моему другу, которого я к вам привела.

Старик охотно согласился. Он поднес к губам буксовую свирель, сделанную грубо, по-видимому, им самим, и для начала сыграл несколько странных музыкальных фраз. Затем вдруг зазвучали мощные мелодии, в которых трели сверкали, как жемчуга и бриллианты на бархате. Под искусными пальцами, оживленная творческим дыханием, деревянная свирель пела, как серебряная флейта. Она не срывалась на слишком резкие ноты; тембр ее был неизменно ровен и чист; казалось, вы внимали сразу и соловью, и музам, и всей природе, и человеку. Старик выражал, излагал, развивал свои мысли в музыкальной речи, грациозной и смелой. Он пел любовь, страх, бесцельные распри, торжествующий смех, спокойное сияние разума, острые стрелы мысли, разящие своими золотыми остриями чудовищ Невежества и Ненависти. Он пел Радость и Страдание, этих близнецов, склонивших свои головы над землей, и Желание, которое созидает миры.

Всю ночь напролет звучала флейта Нектария. Уже утренняя звезда поднялась над побледневшим горизонтом. Зита, обняв колени, Аркадий, склонив голову на руку, полураскрыв губы, застыли неподвижно и слушали. Жаворонок, проснувшись неподалеку, на песчаном пустыре, привлеченный этими неведомыми звуками, стремительно взвился в небо, застыл на мгновение в воздухе и вдруг камнем упал в сад музыканта. Окрестные воробьи, покинув расщелины старых стен, стайкой слетели на карниз окна, откуда лились звуки, пленявшие их больше, чем овсяное или ячменное зерно. Сойка, впервые вылетавшая из лесу, опустилась на оголенное вишневое дерево в саду и сложила свои сапфировые крылышки. Большая черная крыса в подвальном люке, еще вся мокрая и лоснящаяся от жирной воды из сточной канавы, присела в изумлении, вскинув свои коротенькие передние лапки с тоненькими пальчиками. Возле нее пристроилась живущая на огороде полевая мышь. Старый домашний кот, унаследовавший от своих диких предков серую шерсть, полосатый хвост мощные лапы, отвагу и высокомерие, толкнул мордой приоткрытую дверь,

бесшумно приблизился к флейтисту и, важно усевшись, насторожил уши, изодранные в ночных боях. Белая кошечка лавочника, крадучись, вошла за ним, потянула в себя звенящий воздух, потом, выгнув спину дугой, зажмурила голубые глаза и стала в упоении слушать. Мыши выбежали из подполья, обступили их целой толпой, не страшась ни когтей, ни зубов, и, сложив в умилении на груди розовые лапки, замерли неподвижно. Пауки покинули свою паутину и, судорожно перебирая ножками, очарованные, собрались на потолке. Маленькая серая ящерица, юркнув на порог, притаилась, замороженная, и если бы кто заглянул на чердак, то увидел бы там летучую мышь, которая, зацепившись когтем, висела вниз головой и, наполовину проснувшись от своей зимней спячки, тихонько покачивалась в такт неслышной флейте.

ГЛАВА XV,

где мы видим, что юный Морис даже в объятиях возлюбленной жалел о своем пропавшем ангеле-хранителе, и где устами аббата Патуйля все разговоры о новом восстании ангелов отвергаются как искушение и обман

Прошло две недели после появления ангела в холостой квартирке Мориса. Первый раз Жильберта пришла на свидание раньше своего возлюбленного. Морис был угрюм. Жильберта раздражительна. Мир снова обрел в их глазах унылое однообразие. Скучающие взгляды, которыми они обменивались, то и дело устремлялись в угол между зеркальным шкафом и окном, где в тот раз появился бледный облик Аркадия и где теперь не было ничего, кроме обоев из голубого кретона.

Не называя его (это было излишне), г-жа дез'Обель спросила:

— Ты его больше не видел?

Медленно, грустно Морис повернул голову слева направо и справа налево.

— Ты, кажется, жалеешь об этом? — спросила г-жа дез'Обель. — Но признайся, ведь он тебя ужасно напугал? И сам же ты возмущался его бестактностью.

— Разумеется, он был бестактен, — сказал Морис без всякого неудовольствия.

Она сидела в постели полуголая, обняв колени и опершись на них подбородком. Внезапно она посмотрела на своего любовника с острым любопытством.

— Скажи, Морис, для тебя теперь ровно ничего не значит видеться со мной вот так, наедине, тебе нужен ангел, чтобы ты воодушевился. Знаешь, это печально в твоем возрасте.

Морис как будто не слышал и с задумчивым видом спросил:

— Жильберта, ты чувствуешь возле себя своего ангела-хранителя?

— Я — нисколько, я даже никогда и не думала о моем... А ведь я все-таки верующая. По-моему, люди, которые ни во что не верят, это все равно что звери. И потом человек, у которого нет религии, не может быть порядочным, это немислимо.

— Да, так оно и есть, — сказал Морис, глядя на лиловые полоски своей пижамы без цветочков. — Когда при тебе есть твой ангел-хранитель, то о нем даже и не думаешь, а вот когда потеряешь его, чувствуешь себя таким одиноким.

— Значит, ты скучаешь без этого...

— Не то чтоб я...

— Да, да, скучаешь. Ну, сказать по правде, дорогой мой, о таком ангеле-хранителе жалеть не стоит. Никуда он не годится, твой Аркадий. В тот знаменательный день, когда ты ушел покупать ему тряпье, он без конца возился, застегивая мне платье, и я очень ясно чувствовала, как его рука... ну словом, не очень-то доверяй ему.

Морис закурил папиросу и задумался. Они поговорили о шестидневных велосипедных гонках на зимнем велодроме и об авиационной выставке в Брюссельском автомобильном клубе, но это ничуть не развлекло их. Тогда они обратились к любви, как к самому легкому развлечению. Им удалось несколько забыться. Но в тот самый момент, когда Жильберте следовало проявить наибольшую податливость и обнаружить соответствующие чувства, она

вдруг неожиданно привскочила и крикнула:

— Боже мой, Морис, как это было глупо с твоей стороны сказать, что мой ангел-хранитель видит меня. Ты себе представить не можешь, до чего это меня сейчас стесняет.

Морис, раздраженный, несколько грубовато попросил свою возлюбленную не отвлекаться, но она заявила, что у нее есть моральные устои, которые не позволяют ей предаваться любви вчетвером с ангелами.

Морис жаждал снова увидеться с Аркадием и не мог думать ни о чем другом. Он горько упрекал себя за то, что, расставаясь с ним, потерял его след. День и ночь он только и думал о том, как бы его разыскать. На всякий случай он поместил в «почтовом ящике» одной крупной газеты следующее уведомление: «Морис — Аркадию. Вернитесь». Дни проходили, но Аркадий не возвращался.

Как-то раз утром в семь часов Морис отправился в церковь св. Сульпиция к обедне, которую служил аббат Патуйль; когда священник после службы выходил из ризницы, он подошел к нему и попросил уделить ему несколько минут. Они вместе спустились с паперти и стали прогуливаться под ясным зимним небом вокруг фонтана «Четырех епископов». Хотя совесть его была в большом смятении и хотя, казалось, очень трудно заставить поверить в такой невероятный случай, Морис все же рассказал, как к нему явился ангел-хранитель и сообщил ему о своем ужасном намерении покинуть его для того, чтобы подготовить новое восстание небесных духов. И юный д'Эпарвьё попросил у почтенного священнослужителя совета, как ему поступить, чтобы вернуть своего небесного покровителя, без которого он не может жить, и как снова обратиться ангела к христианской вере. Аббат Патуйль с сердечным соболезнованием отвечал, что его дорогое дитя, вероятно, видело все это во сне и приняло за действительность лихорадочный бред и что не подобает думать, будто добрые ангелы способны восстать против господа.

— Молодые люди воображают, — прибавил он, — что можно безнаказанно вести рассеянный и беспорядочный образ жизни. Они заблуждаются. Невоздержанность в удовольствиях затемняет сознание и губит рассудок. Дьявол завладевает чувствами грешника, чтобы проникнуть в глубь его души. Это он грубым обманом ввел вас во искушение, Морис.

Морис продолжал настаивать, что он вовсе не бредил, что ему это вовсе не снилось, что он видел собственными глазами и собственными ушами слышал своего ангела-хранителя. Он стоял на своем.

— Господин аббат, одна дама, которая тогда находилась со мной и которую излишне называть, тоже видела и слышала его, и она даже ощущала прикосновение пальцев ангела, которыми он... которые шарили у нее под... словом, она их ощущала. Уверяю вас, господин аббат, это было самое реальное, самое настоящее, совершенно неоспоримое явление. Ангел был белокурый, молодой, очень красивый. Его светлое тело в темноте было словно пронизано каким-то молочным сиянием. Он говорил чистым, нежным голосом.

Тут аббат с живостью перебил его.

— Уж это, одно, дитя мое, доказывает, что вам все это пригрезилось. Все демонологи сходятся в том, что у злых ангелов хриплый голос, скрипучий, как заржавленный замок, и если им даже удастся придать своему облику некоторое подобие красоты, они никак не могут перенять чистый голос добрых духов. Эта истина, подтвержденная многочисленными свидетельствами, не подлежит никакому сомнению.

— Но, господин, аббат, я же сам видел его. Он уселся совсем голый в кресло, прямо на черные чулки. Ну что я вам могу еще сказать?

Но на аббата Патуйля не подействовало и это доказательство.

— Повторяю вам, дитя мое, что это тяжкое заблуждение; этот бред глубоко смятенной души можно объяснить только плачевным состоянием вашей совести. И мне кажется, я даже угадываю, какое случайное обстоятельство вывело из равновесия, ваш смятенный разум. Нынешней зимой вы, будучи уже в скверном состоянии, пришли вместе с господином Сарьеттом и вашим дядей Гаэтаном посмотреть часовню Ангелов, которая тогда

реставрировалась. Как я уже не раз говорил, художникам следует постоянно напоминать каноны христианского искусства. Им надобно неустанно внушать уважение к священному писанию и его признанным толкователям. Господин Эжен Делакруа не желал подчинять свой бурный гений христианской традиции. Он творил своим умом и запечатлел в этой часовне образы, от которых, как говорили тогда, пахнет серой; жестокие, страшные сцены, которые отнюдь не даруют душе мир, радость и успокоение, а, наоборот, повергают ее в смятение и ужас. У всех его ангелов разгневанные лики, суровые, мрачные черты. Можно и впрямь подумать, что это Люцифер и его сообщники, замышляющие восстание. Вот эти-то изображения, дитя мое, и повлияли на ваш ослабленный и расшатанный беспорядочной жизнью рассудок и внесли в него ту сумятицу, жертвой которой вы сейчас являетесь.

— Нет, нет, господин аббат, да нет же! — воскликнул Морис. — Не думайте, что на меня произвела впечатление живопись Эжена Делакруа. Да я даже не смотрел на эти картины, меня совершенно не трогает такого рода искусство.

— Послушайте, дорогое дитя мое, вы можете мне поверить, — то, что вы мне рассказываете, никак не может быть истинным. Это немыслимо. Ваш ангел-хранитель не являлся вам.

— Но, господин аббат, — продолжал Морис, для которого свидетельство его собственных чувств не подлежало никакому сомнению, — я видел, как он зашнуровывал ботинки даме и потом надел на себя штаны самоубийцы!..

И, топнув ногой по асфальту, Морис призвал в свидетели своей правоты небо, землю, природу, башни св. Сульпиция, стены большой семинарии, фонтан «Четырех епископов», уличную уборную, стоянки фиакров, таксомоторов и автобусов, деревья, прохожих, собак, воробьев, цветочницу и ее цветы.

Аббату не терпелось закончить беседу:

— Все это заблуждение, грех и обман, дитя мое, вы христианин и должны рассуждать, как подобает христианину. Христианину не подобает поддаваться соблазну суетных видений. Вера укрепляет его против обольщений чудесами. Пусть легковерие будет уделом вольнодумцев. Вот уж поистине легковерные люди, нет такого вздора, за который бы они не ухватились. Но христианин обладает оружием, которое рассеивает дьявольские наваждения: крестным знаменем. Успокойтесь, Морис, вы не потеряли своего ангела-хранителя, он неустанно печется о вас, а вы должны постараться, чтобы эта его святая обязанность не была для него слишком трудной и обременительной. До свидания, Морис. Погода, видно, меняется. Я уж чувствую это по тому, как у меня ноет большой палец на ноге.

И аббат Патуйль удалился, держа под мышкой молитвенник и прихрамывая с таким достоинством, что можно было безошибочно признать в нем будущего епископа.

В этот самый день Аркадий и Зита, опершись на парапет монмартрской лестницы, смотрели на дымы и туманы, расстилавшиеся над огромным городом.

— Может ли объять разум, сколько горя и страданий вмещает в себе большой город? — сказал Аркадий. — Мне кажется, если бы человек мог себе это представить, он не выдержал бы столь страшного зрелища, оно сразило бы его наповал.

— И тем не менее, — сказала Зита, — все, что дышит в этой геенне, любит жизнь. И в этом — великая тайна!

— Они несчастны, пока существуют, но перестать существовать для них ужасно. Они не ищут утешения в небытии, не ждут от него даже отдыха. В своем неразумии они даже страшатся небытия; они населили его призраками. Посмотрите-ка на эти фронтоны, колокольни, купола и шпили, которые поднимаются над туманом, увенчанные сверкающим крестом. Люди поклоняются демиургу, который создал для них жизнь хуже смерти и смерть хуже жизни. Зита долго молчала, задумавшись, и, наконец, сказала:

— Аркадий, я должна вам признаться, — не жажда более справедливого правосудия или более мудрого закона низвергла Итуриила на землю. Честолюбие, склонность к интригам, любовь к богатству и почестям делали для меня невыносимым небесный покой, и я горела желанием слиться с мятущимся человеческим родом. Я сошла на землю и с

помощью искусства, неведомого почти никому из ангелов, приняла человеческий облик, обладающий способностью менять по моему желанию возраст и пол, благодаря чему я обрела возможность изведать самые удивительные жребии. Сотни раз я оказывалась на первом месте среди любимцев века, королей золота и властителей народов. Я не назову вам, Аркадий, прославленные имена, которыми я называлась, но знайте, что я царила в науках, искусствах, славилась могуществом, богатством и красотой среди всех народов мира. Наконец несколько лет тому назад, путешествуя по Франции под видом знаменитой иностранки, я блуждала однажды вечером в лесу Монморанси и услышала флейту, которая пела о скорби небес. Ее чистый, тоскующий голос надрывал душу. Мне никогда еще не приходилось слышать ничего столь прекрасного. Глаза мои наполнились слезами, грудь стеснилась рыданиями. Я приблизилась и увидела на опушке леса старика, похожего на фавна, который играл на деревенской свирели. Это был Нектарий. Упав к его ногам, я поцеловала его руки, прильнула к его божественным устам и убежала.

С тех пор мне наскучила шумная пустота земных забот, я познала ничтожество земного величия, я устыдилась напрасно затраченных мною огромных усилий, и, устремив свое честолюбие к более высокой цели, я обратила взор к моей небесной родине и дала обет вернуться туда освободительницей. Я оставила свое высокое звание, свое имя, богатство, друзей, толпу почитателей и, превратившись в безвестную Зиту, стала трудиться в бедности и одиночестве, дабы приблизить час освобождения небес.

— И я слышал флейту Нектария, — сказал Аркадий, — но кто же он, этот старый садовник, который умеет извлечь из грубой деревенской свирели столь трогательные и прекрасный голос?

— Вы это скоро узнаете, — сказала Зита.

ГЛАВА XVI,

в которой друг за другом проходят перед нами ясновидящая Мира, Зефирина и роковой Амедей и которая на страшном примере Сарьетта подтверждает слова Эврипида о том, что Юпитер отнимает разум у тех, кого он хочет погубить

Разочаровавшись в попытке расширить религиозный кругозор прославленного своей ученостью аббата и потеряв надежду найти своего ангела путем истинной веры, Морис решил прибегнуть к помощи потусторонних наук и посоветоваться с ясновидящей. Он, разумеется, пошел бы к г-же де Теб, но он уже обращался к ней однажды, в пору своих первых любовных затруднений, и она беседовала с ним столь рассудительно, что он усомнился в том, что она колдунья. Теперь он возложил все свои Надежды на сокровенные знания некоей модной сомнамбулы, г-жи Мира.

Он не раз слышал рассказы о ее необыкновенной прозорливости. Нужно было только принести ей какой-нибудь предмет, который носил на себе или к которому прикасался тот отсутствующий, на коего требовалось направить ее всепроникающий взор. Морис, перебирая в уме все те предметы, к которым мог прикоснуться ангел после своего злополучного превращения, вспомнил, что он в своей райской наготе уселся в кресло на черные чулки г-жи дез'Обель и что он помогал ей одеться. Морис попросил у Жильберты какой-нибудь из этих талисманов, необходимых для ясновидящей. Но Жильберта не могла найти ничего в качестве подходящего талисмана, за исключением разве самой себя, ибо ангел, оказывается, проявил по отношению к ней величайшую нескромность и действовал настолько проворно, что не было никакой возможности предупредить его поползновения. Выслушав это признание, которое, кстати сказать, не заключало в себе ничего нового, Морис страшно возмутился, обозвал ангела именами самых гнусных животных и поклялся, что даст ему пинка в зад, если встретится с ним когда-нибудь на близком расстоянии. Но очень скоро ярость его обратилась на г-жу дез'Обель. Он стал обвинять ее в том, что она сама поощряла развязность, на

которую теперь жалуется, и, не помня себя, принялся всячески поносить ее, наделяя всеми зоологическими символами бесстыдства и разврата. Любовь к Аркадию, пламенная и чистая, с новой силой вспыхнула в его сердце; покинутый юноша, обливаясь слезами, упал на колени и, простирая руки, стал призывать своего ангела.

Как-то раз ночью Морис вспомнил о книгах, которые ангел перелистывал до своего появления, и решил, что они могли бы подойти в качестве талисмана. Вот почему однажды утром он поднялся в библиотеку и обратился с приветствием к Сарьетту, который корпел над каталогом под романтическим взором Александра д'Эпарвье. Сарьетт улыбался, смертельно бледный. Теперь, когда незримая рука уж больше не разбрасывала вверенных его попечению книг, когда в библиотеке снова воцарились порядок и покой, Сарьетт блаженствовал, но силы его слабели с каждым днем. От него осталась одна тень, легкая, умиротворенная. «Несчастья прошлого и в счастье убивают».

— Господин Сарьетт, — сказал Морис, — помните вы то время, когда ваши книжонки исчезали по ночам, охатками носились по воздуху, летали, порхали, перелетали с места на место, попадали невесть куда вплоть до канавы на улице Палатин? Хорошее было время! Покажите-ка мне, господин Сарьетт, те книжечки, которым доставалось чаще всего.

Эта речь повергла Сарьетта в мрачное оцепенение, и Морису пришлось трижды повторить свое предложение, прежде чем старый библиотекарь понял, чего от него хотят. Тогда он указал на один очень древний иерусалимский талмуд, который не раз побывал в неуловимых руках; апокрифическое евангелие третьего века на двадцати листах папируса тоже частенько покидало свое место. Перелистывали усердно, по-видимому, и переписку Гассенди.

— Но есть одна книга, — сказал в заключение Сарьетт, — которую таинственный посетитель несомненно предпочитал всем другим, Это маленький «Луcreций» в красном сафьяновом переплете с гербом Филиппа Вандомского, великого приора Франции, и собственноручными пометками Вольтера, который, как известно, в юности посещал Тампль. Страшный читатель, наделавший мне столько хлопот, прямо-таки не расставался с этим «Луcreцием». Это была, если можно так выразиться, его настольная книга. Он понимал толк, ибо это поистине драгоценность. Увы, этот изверг посадил чернильное пятно на сто тридцать седьмой странице, и я боюсь, что вывести его не удастся никаким химикам.

Г-н Сарьетт глубоко вздохнул. Ему пришлось тут же раскаться в своей откровенности, ибо не успел он кончить, как юный д'Эпарвье потребовал этого драгоценного «Луcreция». Напрасно ревностный хранитель уверял, что книга сейчас у переплетчика и он не может ее принести. Морис дал понять, что его этим не проведешь. Он с решительным видом прошел в зал Философов и Сфер и, усевшись в кресло, сказал:

— Я жду.

Сарьетт предлагал дать ему другое издание латинского поэта. Есть издания с более правильным текстом, сказал он, и, следовательно, более подходящие для занятий. И он предложил «Луcreция» Барбу, «Луcreция» Кутелье или, еще лучше, французский перевод. Можно взять перевод барона де Кутюра, хотя он, пожалуй, немножко устарел, перевод Лагранжа или переводы в изданиях Низара и Панкука и, наконец, два очень изящных переложения члена Французской академии, г-на де Понжервиля, одно в стихах, другое в прозе.

— Не нужно мне переводов, — надменно ответил Морис. — Дайте мне «Луcreция» приора Вандомского.

Сарьетт медленно приблизился к шкафу, где хранилось это сокровище. Ключи звенели в его дрожащей руке. Он поднес их к замку, но тут же отдернул и предложил Морису популярного «Луcreция» в издании Гарнье.

— Очень удобен для чтения, — сказал он с заискивающей улыбкой.

Но по молчанию, которое последовало на это предложение, он понял, что противиться бесполезно. Он медленно достал книгу с полки и, удостоверившись, что на сукне стола нет ни пылинки, дрожа, положил ее перед правнуком Александра д'Эпарвье.

Морис взял ее и стал перелистывать и, дойдя до сто тридцать седьмой страницы, углубился в созерцание лилового чернильного пятна величиной с горошину.

— Да, да, вот оно, — сказал папаша Сарьетт, не сводивший глаз с «Лукреция». — Вот след, который оставили на книжке эти незримые чудовища.

— Как, господин Сарьетт, разве их было несколько? — воскликнул Морис.

— Я этого не знаю, но сомневаюсь, имею ли я право уничтожить это пятно; возможно, что оно, подобно той кляксе, которую Поль-Луи Курье посадил на флорентийской рукописи, представляет собой, так сказать, литературный документ.

Не успел старик договорить, как у входной двери раздался звонок и в соседней зале послышались гулкие шаги и чей-то громкий голос. Сарьетт бросился на шум и столкнулся с возлюбленной папаша Гинардона, старой Зефириной. Ее взлохмаченные волосы торчали во все стороны, как змеи из гнезда, лицо пылало, грудь бурно вздымалась, живот, похожий на пуховик, вздувшийся от ветра, ходил ходуном, — она задыхалась от ярости и горя. И сквозь рыдания, вздохи, стоны и тысячи других звуков, которые, исходя из ее груди, казалось, сочетали в себе все шумы, порождаемые на земле волнением тварей и смятением стихий, она вопила:

— Он ушел, изверг! Ушел с ней! И унес с собой все, все до последней нитки! И оставил меня одну! Вот франк и семьдесят сантимов — все, что было у меня в кошельке.

И она длинно и путано, стала рассказывать, что Мишель Гинардон бросил ее и поселился с Октавией, дочерью булочницы; при этом она беспрестанно прерывала себя, осыпая изменника проклятиями и бранью.

— Человек, которого я пятьдесят с лишком лет содержала на свои собственные деньги! У меня-то ведь были и деньжонки, и хорошие связи, и все. Из нищеты его вытащила! И вот он как мне отплатил! Нечего сказать, хороший у вас приятель! Бездельник, за которым нужно было ходить, как за ребенком! Пьяница! Последний негодяй! Вы плохо его знаете, господин Сарьетт. Ведь это мошенник, он без зазрения совести подделывает Джотто, да, Джотто и Фра Анджелико, и Греко. Да, да, господин Сарьетт, и сбывает их торговцам картинами. И всех этих Фрагонаров и Бодуэнов! Распутник! Нехристь! Ведь он в бога не верует. Вот где самое зло-то, господин Сарьетт! Раз у человека нет страха божьего.

Зефирина долго изливала свое негодование. Когда она, наконец, выбилась из сил, Сарьетт, воспользовавшись передышкой, стал успокаивать ее и пытался воскресить в ней надежду. Гинардон вернется. Так просто нельзя вычеркнуть из памяти пятьдесят лет дружной совместной жизни...

Эти краткие речи вызвали новый прилив ярости. Зефирина клялась, что никогда не забудет нанесенной обиды, никогда не пустит к себе это чудовище. И если он даже будет на коленях просить у ее прощения, она заставит его валяться у нее в ногах.

— Разве вы не понимаете, господин Сарьетт, что я презираю, ненавижу его, что мне даже и глядеть-то на него противно.

Она раз шестьдесят высказала эти непреклонные чувства и столько же раз поклялась, что не пустит к себе Гинардона на порог, что ей и глядеть-то на него и думать о нем противно.

Г-н Сарьетт не стал отговаривать ее, убедившись после стольких уверений, что ее решение непоколебимо. Он не осуждал Зефирину, он даже похвалил ее. Нарисовав перед бедной, покинутой женщиной более возвышенные перспективы, он обмолвился насчет непрочности человеческих чувств и, поддержав ее готовность к отречению, посоветовал благочестиво покориться воле божьей.

— Потому что, по правде говоря, — сказал он, — ваш друг недостойн такой привязанности...

Не успел он договорить, как Зефирина бросилась на него и, вцепившись ему в ворот сюртука, принялась трясти его изо всех сил.

— Недостойн привязанности! — задыхаясь, кричала она. — Это мой-то Мишель недостойн привязанности! Да вы, мой милый, поищите другого такого же ласкового,

веселого, находчивого... да такого, чтоб был всегда молодой, как он. Недостойн привязанности! То-то видно, что ты ничего не смыслишь в любви, старая крыса.

Воспользовавшись тем, что папаша Сарьетт был поневоле весьма занят, юный д'Эпарвьё сунул маленького «Лукреция» в карман и спокойно прошествовал мимо подвергающегося встряске библиотекаря, помахав ему на прощание рукой.

Вооружившись этим талисманом, он помчался на площадь Терн к г-же Мира, которая приняла его в красной с золотом гостиной, где не было ни совы, ни жабы, ни каких бы то ни было иных атрибутов древней магии. Г-жа Мира, дама уже в летах, с напудренными волосами и в платье цвета сливы, имела весьма почтенный вид. Она выражалась изысканно и с гордостью утверждала, что она проникает в область сокровенного исключительно с помощью науки, философии и религии. Пощупав сафьяновый переплет, она закрыла глаза и из-под опущенных век пыталась разобрать латинское заглавие и герб, которые ей ровно ничего не говорили. Привыкнув руководиться в качестве указаний кольцами, платками, письмами, волосами, она не могла понять, какого рода человеку могла принадлежать эта странная книга. С привычной автоматической ловкостью она затаила свое искреннее недоумение, прикрыв его напускным.

— Странно, — пролепетала она, — очень странно. Я вижу очень неясно... вижу женщину...

Произнося это магическое слово, она украдкой наблюдала, какое впечатление оно произвело, и прочла на лице своего клиента неожиданное для себя разочарование. Обнаружив, что она идет по неправильному пути, она на ходу изменила свои прорицания.

— Но она тут же исчезает... чрезвычайно странно. Передо мною какой-то туманный облик, какое-то непостижимое существо...

И убедившись с одного взгляда, что на этот раз ее слова жадно ловят на лету, она стала распространяться о двойственности этого существа, о тумане, который его окутывает.

Постепенно видение стало отчетливее вырисовываться перед взором г-жи Мира, которая шаг за шагом нащупывала след.

— Большой бульвар, площадь, статуя, пустынная улица... лестница... голубоватая комната. И вот он здесь. Это юноша, у него бледное, озабоченное лицо... он словно сожалеет о чем-то, и, будь это в его власти, он не совершил бы этого вновь.

Но прорицания потребовали от ясновидящей слишком большого напряжения, Усталость помешала ей продолжать ее трансцендентные поиски. Она исчерпала последний запас своих сил, обратившись к своему клиенту с внушительным наставлением оставаться в тесном единении с богом, если он хочет вернуть то, что потерял, и преуспеть в своих стараниях.

Морис, положив на камин луидор, вышел взволнованный, потрясенный и твердо уверенный, что г-жа Мира обладает сверхъестественными способностями, к сожалению, недостаточными.

Уже спустившись с лестницы, он вспомнил, что оставил маленького «Лукреция» на столе у пифии, и, подумав, что старый маньяк не переживет потери своей книжонки, вернулся за нею. Едва он переступил порог отчего дома, как перед ним выросла горестная тень. Это был папаша Сарьетт, который жалобным голосом, напоминавшим осенний ветер, требовал обратно своего «Лукреция». Морис небрежно вытащил его из кармана пальто.

— Не убивайтесь так, господин Сарьетт, вот вам ваша игрушка.

Библиотекарь жадно схватил свое вновь обретенное сокровище и, прижимая его к груди, понес к себе в библиотеку. Там он бережно опустил его на синее сукно стола и стал придумывать, куда бы понадежнее спрятать свою драгоценность, перебирая в уме различные проекты, достойные ревностного хранителя. Но кто из нас может похвастаться мудростью? Недалеко простирается предвидение человека, и все предосторожности нередко оказываются тщетными. Удары судьбы неотвратимы, никому не дано избежать своей участи. Все наставления разума, все старания бессильны против рока. Горе нам! Слепая сила, управляющая светилами и атомами, из превратностей нашей жизни строит порядок

вселенной. Наши бедствия находят себе место в гармонии миров. Этот день был днем переплетчика, которого круговорот времен приводил сюда дважды в год под знаком Тельца и под знаком Девы. В этот день с утра Сарьетт готовил книги переплетчика, он складывал на стол новые, не переплетенные тома, признанные достойными кожаного или картонного переплета, а также и те, одежда коих требовала починки, и тщательно составлял список с подробнейшим описанием. Ровно в пять часов старый Амедей — служащий от Леже-Массье, переплетчик с улицы Аббатства, явился в библиотеку д'Эпарвье и после двойной проверки, произведенной г-ном Сарьеттом, складывал книги, предназначенные для его хозяина, на кусок холста и затем, связав крест-накрест все четыре конца, вскидывал этот узел себе на плечо, после чего прощался с библиотекарем следующей фразой:

— Счастливо оставаться честной компании.

И спустился по лестнице.

Так и на этот раз все произошло обычным порядком. Но Амедей, найдя на столе «Лукреция», положил его самым простодушным образом в свою холстину и унес с другими книгами, а г-н Сарьетт как на грех этого не заметил. Библиотекарь вышел из залы Философов и Сфер, совершенно забыв о книге, отсутствие которой сегодня днем доставило ему столько тревожных минут. Строгие судьи, пожалуй, поставят ему это в упрек как непростительную забывчивость. Но не лучше ли сказать, что таково было веление свыше, ибо это ничтожное обстоятельство, которое, с человеческой точки зрения, привело к невероятным последствиям, было вызвано так называемым случаем, а в действительности естественным ходом вещей. Г-н Сарьетт отправился обедать в кафе «Четырех епископов»; прочел там газету «Ла Круа». На душе у него было спокойно и безмятежно. Только на следующее утро, войдя в залу Философов и Сфер, он вспомнил о «Лукреции» и, обнаружив его на столе, бросился искать повсюду, но нигде не мог найти. Ему не пришло в голову, что Амедей мог захватить книгу нечаянно. Первой его мыслью было, что библиотеку опять посетил незримый гость, и его охватило страшное смятение.

В это время на площадке лестницы раздавался какой-то шум, и несчастный библиотекарь, открыв дверь, увидел маленького Леона в кепи с галунами, который кричал: «Да здравствует Франция!» — и швырял в своих воображаемых врагов тряпки, метелки и мастику, которой Ипполит натирал полы. Эта площадка была излюбленным местом мальчика для его воинственных упражнений, и нередко он забирался даже в библиотеку. У г-на Сарьетта тут же возникло подозрение, что Леон взял «Лукреция» и воспользовался им в качестве метательного снаряда, и он внушительно и грозно потребовал, чтобы мальчик сейчас же принес книгу. Леон стал отрекаться, тогда Сарьетт сделал попытку подкупить его обещаниями:

— Если ты принесешь мне маленькую красную книжку, Леон, я дам тебе шоколаду.

Ребенок задумался. В тот же вечер г-н Сарьетт, спускаясь по лестнице, встретил Леона, который, протянув ему растрепанный альбом с раскрашенными картинками — «Историю Грибуля», сказал:

— Вот вам книга, — и потребовал обещанный шоколад.

Спустя несколько дней после этого происшествия Морис получил по почте проект некоего сыскного агентства, во главе которого стоял бывший служащий префектуры. Оно обещало быстроту действий и полное сохранение тайны. Явившись по указанному адресу, Морис нашел мрачного, усатого субъекта с озабоченным лицом, который, взяв с него задаток, пообещал тотчас же приступить к поискам.

Скоро Морис получил письмо от бывшего служащего префектуры, в котором тот сообщал ему, что начал розыски, что это дело требует больших расходов, и просил еще денег. Морис денег не дал и решил искать сам. Предположив, — не без основания, — что ангел, раз у него нет денег, должен общаться с бедняками и такими же отщепенцами-революционерами, каким он был сам. Морис обошел все меблированные комнаты в кварталах Сент-Уан, Ла-Шапель, Монмартр, у Итальянской заставы, все ночлежные дома, где спят вповалку, кабачки, где кормят требухой и за три су дают рюмку разноцветной

смеси, подвалы Центрального рынка и притон дядюшки Моми.

Морис заглядывал в рестораны, куда ходят нигилисты и анархисты, он видел там женщин, одетых по-мужски, и мужчин, переодетых женщинами, мрачных, исступленных юношей и восьмидесятилетних голубоглазых старцев, которые улыбались младенческой улыбкой. Он наблюдал, расспрашивал, его приняли за сыщика, и какая-то очень красивая женщина ударила его ножом. Но на следующий же день он продолжал свои поиски и опять ходил по кабачкам, меблированным комнатам, публичным домам, игорным притонам, заглядывал во все балаганы, харчевни, лачуги, уютящиеся подле укреплений, в логова старьевщиков и апашей.

Мать, видя, как Морис худеет, нервничает и молчит, встревожилась.

— Его нужно женить, — говорила она. — Какая досада, что у мадемуазель де ла Вердельер небольшое приданое!

Аббат Патуйль не скрывал своего беспокойства.

— Наш мальчик, — говорил он, — переживает душевный кризис.

— Я склонен думать, — возражал г-н Ренэ д'Эпарвье, — что он попал под влияние какой-нибудь дурной женщины. Надо подыскать ему занятие, которое бы его увлекло и льстило бы его самолюбию. Я мог бы устроить его секретарем комитета охраны сельских церквей или юрисконсультom синдиката католических водопроводчиков.

ГЛАВА XVII,

из которой читатель узнает о том, как Софар, алчущий золота, подобно самому Маммону, предпочел своей небесной родине Францию, благословенную обитель Бережливости и Кредита, и в которой еще раз доказывается, что имущий страшится каких бы то ни было перемен

Аркадий между тем жил скромной трудовой жизнью. Он работал в типографии на улице Сен-Бенуа и жил в мансарде на улице Муфтар. Когда его товарищи устроили стачку, он покинул типографию и посвятил все свои дни пропаганде; он вел ее столь успешно, что привлек на сторону восставших свыше пятидесяти тысяч ангелов-хранителей, которые, как правильно говорила Зита, были недовольны своим положением и заразились современными идеями. Но ему не доставало денег, а тем самым и свободы действий, и он не мог, как ему ни хотелось, тратить все свое время на то, чтобы просвещать сынов неба. Точно так же и князь Истар из-за отсутствия денег изготовлял меньше бомб, чем следовало, и притом худшего качества. Правда, он делал множество маленьких карманных бомб. Он завалил ими всю квартиру Теофиля и каждый день забывал их где-нибудь на диване в кафе. Но изящная, портативная бомба, которой можно было бы уничтожить несколько больших домов, стоит от двадцати до двадцати пяти тысяч франков. У князя Истара было всего лишь две таких бомбы. Одинаково стремясь добыть средства, Аркадий и Истар отправились за поддержкой к знаменитому финансисту Максу Эвердингену, который, как всякий знает, стоит во главе крупнейших кредитных учреждений Франции и всего мира. Однако далеко не все знают, что Макс Эвердинген не родился от женщины, а что он — падший ангел. Тем не менее эта истина. На небесах он носил имя Софара и был хранителем сокровищ Иалдаваофа, великого любителя золота и драгоценных камней. Выполняя свои обязанности, Софар возгорелся любовью к богатству, которую нельзя удовлетворить в обществе, не знающем ни биржи, ни банков. Однако сердце его было полно пылкой привязанности к богу иудеев, которому он оставался верен очень долгое время. Но в начале двадцатого века христианской эры, обратив с высоты небес свой взор на Францию, он увидел, что эта страна под именем республики превратилась в плутократию, где под видом демократического правления властвует безо всяких преград и ограничений крупный капитал. С той поры пребывание в эмпирее стало для него невыносимо. Он всей душой тянулся к Франции, как к своей избранной отчизне, и в один прекрасный день, захватив столько драгоценных камней, сколько мог унести, он

спустился на землю и обосновался в Париже. Здесь этот корыстный ангел начал вершить большие дела. После того как он воплотился, в его лице не осталось ничего небесного, оно воспроизводило во всей чистоте семитический тип и было испещрено морщинами и складками, которые мы наблюдаем на лицах банкиров и которые намечаются уже у менял Квентин-Матсиса. Он начал скромно, но с головокружительной быстротой пошел в гору. Он женился на очень некрасивой женщине, и оба они могли видеть себя, как в зеркале, в своих детях. Дворец барона Макса Эвердингена, возвышающийся на холме Трокадеро, битком набит различными реликвиями христианской Европы. Барон принял Аркадия и Истара в своем кабинете — одной из самых скромных комнат дворца. Потолок ее был украшен фреской Тьеполо, перенесенной из какого-то венецианского палаццо. Здесь стояло бюро регента Филиппа Орлеанского, различные шкафы, витрины, статуи; по стенам висело множество картин.

Аркадий, оглядываясь кругом, сказал:

— Как это случилось, брат мой Софар, что ты, сохранивший израильскую душу, так плохо соблюдаешь заповедь твоего бога, которая гласит: «Не сотвори себе кумира»... Ибо я вижу здесь Аполлона работы Гудона, Гебу Лемуана и несколько бюстов Каффьери. Подобно Соломону в старости, ты, сын бога, поместил в своем доме чужеземных идолов, вот эту Венеру Буше, рубенсовского Юпитера, нимф, которых кисть Фрагонара украсила красносморозинным вареньем, текущим по их смеющимся ягодицам. А вот здесь, Софар, только в одной этой витрине ты хранишь скипетр Людовика Святого, шестьсот жемчужин из разрозненного ожерелья Марии-Антуанетты, императорскую мантию Карла V, тиару, которую чеканил Гиберти для папы Мартина V Колонны, шпагу Бонапарта... да всего не перечислишь.

— Пустяки, — сказал Макс Эвердинген.

— Дорогой барон, — сказал князь Истар, — вы владеете даже тем перстнем, который Карл Великий надел некогда на палец одной феи и который считался потеряннным... Но обратимся к делу.

Мой друг и я пришли просить у вас денег.

— Разумеется, я так и думал, — ответил Макс Эвердинген. — Все просят денег, но для разных целей. Для чего же вы пришли просить денег?

Князь Истар ответил просто:

— Чтоб устроить революцию во Франции.

— Во Франции! — повторил барон. — Во Франции! Ну нет, на это я денег не дам, можете быть уверены.

Аркадий не скрыл, что он ожидал от своего небесного собрата большей щедрости и более великодушной поддержки.

— У нас грандиозный план, — сказал он, — этот план охватывает небо и землю. Мы разработали его во всех подробностях. Сначала мы устраиваем социальную революцию во Франции, в Европе, на всем земном шаре, затем переносим войну на небеса и устанавливаем там мирную демократию. Но чтобы овладеть небесными твердынями, чтобы сокрушить Гору господню, взять приступом небесный Иерусалим, нужна громадная армия, колоссальное снаряжение, гигантские орудия, электрофоры неслыханной мощности. У нас нет средств для всего этого. Революцию в Европе можно устроить с меньшими затратами. Мы думаем начать с Франции.

— Вы с ума сошли! — воскликнул барон Эвердинген. — Вы безмозглые глупцы! Слушайте меня, — Франция не нуждается ни в каких реформах, в ней все совершенно, законченно, нерушимо. Вы слышите: нерушимо.

И чтобы придать больше веса своим словам, барон Эвердинген трижды стукнул кулаком по бюро регента.

— Наши взгляды расходятся, — кротко сказал Аркадий. — Я и князь Истар считаем, что в этой стране следует изменить все. Но к чему спорить? Мы пришли говорить с тобой, брат мой Софар, от имени пятисот тысяч небесных духов, намеренных завтра же поднять

всемирную революцию.

Барон Эвердинген крикнул, что они все взбесились, что он не даст им ни одного су, что это преступление, безумие ополчаться против прекраснейшей вещи в мире, благодаря которой земля стала краше небес, — против финансов.

В нем заговорил поэт и пророк; сердце его вспыхнуло священным огнем вдохновения, и он изобразил французскую Бережливость, добродетельную Бережливость, чистую, непорочную Бережливость, подобную деве из Песни Песней, шествующую из деревенской глуши в своем сельском наряде, чтобы вручить ожидающему ее жениху, могучему и прекрасному Кредиту, сокровища любви. Он изобразил, как Кредит, обогащенный дарами своей супруги, изливает на все народы земного шара потоки золота, которые тысячами невидимых ручьев возвращаются, еще более обильные, на благодатную почву, откуда они истекли.

— Благодаря Бережливости и Кредиту Франция стала новым Иерусалимом, который светит всем народам Европы, и цари земные приходят лобызать ее позлащенные стопы. И это вы хотите разрушить, вы богохульники, святотатцы!

Так говорил ангел-финансист. Незримая арфа вторила его голосу, и глаза его метали молнии.

Тут Аркадий, небрежно облокотившись на бюро регента, развернул перед глазами барона наземный, подземный и воздушный планы Парижа, на которых красными крестиками были отмечены места, где проектировалось одновременно заложить бомбы в подвалах и подземельях, рассеять на улицах и скинуть сверху с целой флотилии аэропланов. Все финансовые учреждения и, в частности, банк Эвердингена со всеми его отделениями были отмечены красными крестиками.

Финансист пожал плечами.

— Оставьте! Вы нищие бродяги, преследуемые полицией всего мира. У вас нет ни гроша за душой. Где вы возьмете все эти снаряды?

Вместо ответа князь Истар вынул из кармана маленький медный цилиндр и любезно протянул его барону Эвердингену.

— Посмотрите на эту простую коробочку, — сказал он, — достаточно уронить ее вот здесь на пол, чтобы превратить весь этот громадный дворец со всеми его обитателями в груды дымящегося пепла и зажечь пожар, который истребит весь квартал Трокадеро. У меня таких штучек десять тысяч. Я делаю их по три дюжины в день.

Финансист попросил керуба спрятать бомбу в карман и сказал примирительным тоном:

— Послушайте, друзья мои, отправляйтесь сейчас же устраивать революцию на небесах и оставьте эту страну в покое. Я подпишу вам чек, у вас будет достаточно средств, чтобы приобрести все, что вам нужно для осады небесного Иерусалима.

И барон Эвердинген уже прикидывал что-то в уме, предвкушая великолепную аферу с электрофорами и военными поставками.

ГЛАВА XVIII,

где начинается рассказ садовника, в котором перед читателем разворачиваются судьбы мира, рассуждения о коих настолько отличаются широтой и смелостью взглядов, насколько «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэта страдает узостью и убожеством

Садовник усадил Зиту и Аркадия в глубине сада, в беседке, увитой диким виноградом.

— Аркадий, — сказал прекрасный архангел, — сегодня, может быть, Нектарий согласится открыть тебе то, что ты так жаждешь узнать. Попроси его.

Аркадий стал просить, и старый Нектарий, положив свою трубку, начал так:

— Я знал его. Это был прекраснейший из Серафимов, он блистал умом и отвагой, и его великое сердце вмещало в себе все добродетели, которые рождает гордость: прямодушие,

мужество, стойкость в испытаниях, упорство в надежде. Во времена, предшествовавшие началу времен в полуночном небе, где сверкают семь магнитных звезд, он обитал во дворце из алмазов и золота, оглашавшемся непрестанным шелестом крыльев и победоносными гимнами. Ягве на своей горе завидовал Люциферу.

Вам обоим известно, что ангелы так же, как и люди, носят в себе зачатки любви и ненависти. Они способны иной раз на благородные решения, но слишком часто руководствуются корыстью и поддаются страху. В те времена, как и ныне, им чужды были возвышенные помыслы, и единственной их добродетелью был страх перед господином. Люцифер, который с пренебрежением отворачивался от всего низменного, презирал эту стаю прирученных духов, погрязших в игрищах и празднествах. Но тем, в ком жил дерзновенный ум, мятежная душа, тем, кто пылал неукротимой любовью к свободе, он дарил свою дружбу, на которую они отвечали ему обожанием. И они во множестве покидали Гору господню и воздавали Серафиму почести, которых тот, другой, требовал для себя одного.

Я принадлежал к лику Господств, и имя мое, Аласиил, пользовалось славой. Чтобы насытить мой разум, снедаемый неутолимой жаждой познания и разумения, я наблюдал природу вещей, изучал свойства камней, воздуха и воды, старался проникнуть в законы, управляющие плотной и жидкой материей, и после долгих размышлений я, наконец, постиг, что вселенная возникла совсем не так, как старался внушить нам ее лжесоздатель. Я понял, что все сущее существует само собой, а не по прихоти Ягве, что вселенная сама является своим творцом и что дух сам в себе бог. С той поры я проникся презрением к Ягве за его обман и возненавидел его за его враждебность ко всему тому, что я считал прекрасным и желанным: к свободе, пытливости, сомнению. Эти чувства приблизили меня к Серафиму. Я восхищался им и любил его, я жил его светом. И когда, наконец, пришел час сделать выбор между ним и другим, я стал на сторону Люцифера, горя одним желанием — служить ему, одним стремлением разделить его участь.

Вскоре война стала неизбежной, он готовился к ней с неутомимой бдительностью, со всей изобретательностью расчетливого ума. Обратив Престолы и Господства в Халибов и Циклопов, он добыл из гор, окруживших его владения, железо, которое он предпочитал золоту, и в пещерах неба выковал оружие. Затем он собрал на пустынных равнинах севера мириады духов, вооружил их, обучил и подготовил. Несмотря на то, что все это делалось втайне, замысел его был столь грандиозен, что не мог в скором времени не стать известным противнику. Можно сказать, что другой давно ожидал и опасался этого, ибо он превратил свою обитель в крепость, а из своих ангелов создал ополчение и нарек себя богом воинств. Он держал наготове свои молнии. Больше половины детей неба остались верными ему, и он видел, как теснятся вокруг него покорные души и терпеливые сердца. Архангел Михаил, который не ведал страха, стал во главе этих послушных войск.

Когда Люцифер увидел, что его войско достигло полной мощи как численностью, так и умением, он стремительно двинул его на врага; обещав своим ангелам богатство и славу, он повел их к Горе, на вершине которой возвышается престол вселенной. Три дня бороздили мы стремительным полетом эфирные равнины. Черные знамена восстания развевались над нашими главами. Уже Гора господня, розовея, показалась вдали на востоке, и наш военачальник измерял взоров ее сверкающие твердыни. Под сапфирными стенами выстроились вражеские колонны, сверкая золотом и драгоценными камнями, а мы приближались к ним, закованные в бронзу и железо. Их алые и голубые стяги трепетали на ветру, и молнии вспыхивали на остриях их копий. Скоро наши войска оказались отделенными друг от друга лишь узким пространством, полоской ровной пустынной тверди, и, глядя на нее, самые отважные из нас содрогались при мысли, что здесь в кровавой схватке решатся судьбы.

Ангелы, как вы знаете, не умирают. Но когда медь, железо, алмазное острие или пламенный меч пронзают их тонкую плоть, они испытывают гораздо более жестокую боль, нежели та, которую способны испытать люди, ибо тело их несравненно нежнее, а если при этом бывает поражен какой-нибудь важный орган, они падают без движения, медленно

рассыпаются и, превратившись в туманности, бесчувственные, распыленные, носятся долгие века в холодном эфире. Когда же, наконец, они снова обретают дух и форму, память о прошлой жизни не возвращается к ним во всей полноте. Поэтому, естественно, ангелы боятся страданий, и даже самые мужественные из них содрогаются при мысли утратить свет разума и сладостные воспоминания. А если бы это было не так, ангельское племя не знало бы ни красоты борьбы, ни величия жертвы, и те, что сражались в эмпирее до начала времен за или против бога воинств, оказались бы бесславными участниками мнимых битв и я не мог бы сказать вам, дети мои, со справедливой гордостью: я там был.

Люцифер дал знак к бою и первый ринулся вперед. Мы обрушились на врага в полной уверенности, что раздавим его тотчас же и с первого натиска овладеем священной твердыней. Воины ревнивого бога, менее пылкие, но не менее стойкие, чем наши, оставались непоколебимыми. Архангел Михаил руководил ими со спокойствием и твердостью отважного сердца. Трижды пытались мы прорвать их ряды, и трижды встречали они наши железные груди пламенными остриями своих копий, способных пронзить самые прочные латы. Миллионами падали светлые тела. Наконец наше правое крыло опрокинуло левое крыло противника, и мы увидели, как Начала, Власти, Господства, Силы и Престолы повернули и бросились бежать, бежать, колотя себя пятками, в то время как ангелы третьей ступени растерянно металась над ними, осыпая их снегом своих перьев, смешанным с кровавым дождем. Мы ринулись в погоню, скользя между обломками колесниц и брошенным оружием, подстегивая их своим преследованием. И вдруг, словно нарастающий ураган, до слуха нашего доносится все увеличивающийся шум, отчаянные, иступленные вопли и ликующие возгласы. Это правое крыло противника — гигантские архангелы всевышнего обрушились на наше левое крыло и сломали его. Пришлось нам оставить беглецов и спешить на помощь нашим расстроенным рядам. Наш князь помчался туда и восстановил боевой порядок. Но левое крыло врага, которое мы не успели разбить до конца, не чувствуя более угрозы наших стрел и копий, воспрянув духом, повернуло обратно и снова устремилось на нас.

Ночь прервала битву, и исход ее так и остался нерешенным. В то время как лагерь под покровом тьмы в тишине, прерываемой лишь стонами раненых, располагался на отдых, Люцифер готовился к следующему дню. До рассвета пробудили нас трубы. Наши воины напали на неприятеля внезапно, в час молитвы, рассеяли его и устроили жестокую резню. Когда все были перебиты или обращены в бегство, архангел Михаил вместе с несколькими соратниками о четырех огненных крылах еще продолжал сопротивляться натиску наших неисчислимых войск. Они отступали медленно, не переставая отражать грудью наши удары, и лицо Михаила хранило полное бесстрашие. Солнце совершило треть своего пути, когда мы начали взбираться на Гору господню. Это был тяжкий подъем, — пот струился по нашим лицам, жгучий свет слепил нам очи. Наши усталые крылья, отягощенные железными доспехами, не могли нас держать, но надежда придавала нам другие крылья, которые несли нас. Прекрасный Серафим своей сияющей рукой указывал нам путь все выше и выше. Весь день карабкались мы на спесивую Гору, которая вечером облачилась в лазурь, розы и опалы; полчища звезд, появившиеся на небе, казались отражением наших доспехов; над нашими головами простиралась бесконечная тишь. Мы шли, опьяненные надеждой. Внезапно в потемневшем небе вспыхнули молнии, грянул гром, и с окутанной облаками вершины пал небесный огонь. Наши шлемы и латы плавилась в пламени, наши щиты дробились под ударами четырехгранных стрел, которые кидала незримая рука. В этом огненном урагане Люцифер сохранял свое гордое величие. Гром обрушивался на него с удвоенной силой, он стоял непоколебимо и бросал вызов врагу. Наконец, молния потрясла Гору, низринувла нас вместе с обрушившимися глыбами сапфиров и рубинов, и мы, потеряв сознание и чувство, покатались в бездну. Но сколько времени мы падали, этого никто не мог бы измерить.

Я очнулся в мучительной мгле. Когда глаза мои привыкли к глубокому мраку, я увидел вокруг себя своих боевых соратников, распростертых тысячами на сернистой почве, по которой пробегали синеватые отсветы. Глаза мои не различали ничего, кроме серных

родников, дымящихся кратеров и ядовитых болот. Ледяные горы и необозримые моря мглы замыкали горизонт, медное небо тяжко нависло над нашими головами. И ужас этого места был столь велик, что мы заплакали, сев на корточки, положив локти на колени и подпирая щеки кулаками.

Но вот, подняв глаза, я увидел Серафима, который высился передо мной, подобно башне. Его лучезарное сияние украсилось мрачным величием скорби.

— Друзья, — сказал он, — будем радоваться и веселиться, ибо мы, наконец, избавились от небесного рабства. Здесь мы свободны, и лучше свобода в преисподней, чем рабство на небе². Мы не побеждены, ибо у нас осталась воля к победе. Мы поколебали престол ревнивого бога, и мы сокрушим его. Встаньте, друзья мои, и воспряньте сердцем.

Тотчас же по его приказу мы нагромоздили горы на горы и на этих высотах установили орудия, которые стали метать пылающие скалы в божественную обитель. Небесное воинство не ожидало этого, и из пресветлого стана раздались стоны и вопли ужаса. Мы уже готовились вернуться победителями в нашу высокую отчизну, но вдруг Гора господня сверкнула пламенем, гром и молния обрушились на нашу крепость и испепелили ее.

После этого нового поражения Серафим, склонив главу на руки, погрузился в раздумье. Наконец он поднял свое почерневшее лицо. Отныне это был Сатана, еще более великий, чем Люцифер. Верные ангелы теснились вокруг него.

— Друзья, — сказал он нам, — если мы еще не победили, это значит, что мы еще недостойны и неспособны победить. Узнаем же, чего нам не хватает. Только путем познания можно подчинить себе природу, воцариться над вселенной, стать богом. Нам необходимо овладеть молнией, и мы должны направить к этому все наши усилия. Но не слепая отвага (нельзя проявить большей отваги, чем проявили вы в этот день) завоеует нам божественные стрелы, а только познание и мысль. В этом немом убежище, куда мы низверглись, будем мыслить, будем познавать скрытые причины вещей, наблюдать природу, будем приникать в нее с могучим рвением и всепобеждающим желанием, постараемся постичь ее во всем ее бесконечно великом и бесконечно малом, узнаем, когда она бесплодна и когда плодоносна, как создает она тепло и холод, радость и страдание, жизнь и смерть, как сочетает она и как разлучает свои стихии, как творит она прозрачный воздух, которым мы дышим, и алмазные и сапфирные скалы, с которых мы были низринуты, и божественный огонь, обугливший нас, и высокую мысль, которая волнует наш разум. Израненные, обожженные пламенем и льдами, возблагодарим судьбу, которая открыла нам глаза, и примем с радостью выпавший нам жребий. Страдание впервые столкнуло нас с природой и пробудило в нас стремление узнать и покорить ее. И только когда она делается послушной нам, мы станем богами. Но если даже она не откроет нам своих чудес, не даст нам в руки оружия и утаит от нас тайну молнии, мы все же должны радоваться тому, что познали страдание, ибо оно пробудило в нас новые чувства, более драгоценные и сладостные, нежели те, которые мы испытывали в обители вечного блаженства, ибо страдание вдохнуло в нас любовь и жалость, неведомые небесам.

Эти слова Серафима преобразили наши сердца и вселили в нас новые надежды. Беспредельная жажда знания и любви теснила нам грудь. Тем временем земля рождалась. Ее громадный туманный шар с каждым часом сжимался и уплотнялся, воды которые питали водоросли, кораллы, раковины и носили на себе легкие стаи моллюсков, уже не покрывали его целиком: они прорезывали себе русла, а там, где в теплом иле копошились чудовищные амфибии, уже показались материки. Горы покрывались лесами, и разные звери бродили по земле, питаясь травой и мхами, ягодами кустарников и дубовыми желудями.

И вот пещерами и убежищами среди скал завладел тот, кто научился острым камнем убивать диких зверей и хитростью побеждать древних обитателей лесов, равнин и гор. С трудом завоевывал свое господство человек. Он был слаб и наг, редкая шерсть плохо

² Better to reign in Hell, than serve in Heav'n. «Para dise Lost» book I, v.254. (Прим. автора.)

защищала его от холода, а ногти на пальцах были слишком мягки, чтобы бороться с когтями хищников, но зато его подвижные большие пальцы, отделенные от остальных, позволяли ему легко захватывать самые различные предметы, — недостаток силы возмещался ловкостью. Не отличаясь существенно от прочих животных, он, однако, был более других способен наблюдать и сравнивать. Так как он умел издавать гортанью разные звуки, он стал пользоваться этим свойством для обозначения предметов, поражающих его чувства, и это чередование звуков помогло ему запечатлеть и выражать свои мысли. Его жалкая участь и его беспокойный дух привлекли к нему побежденных ангелов, которые угадали в нем дерзновенность, подобную их собственной, и ростки той гордости, которая явилась причиной их мучений и их славы. Великое множество их поселилось рядом с ним на этой юной земле, где их легко носили крылья. Им доставляло удовольствие подстегивать его мысль и изощрять его способности. Они научили его одеваться в шкуры диких зверей и заваливать камнями вход в пещеру, чтоб преградить доступ тиграм и медведям. Они открыли ему способ добывать огонь трением палки о сухие листья и поддерживать священный пламя на камнях очага. Вдохновленный изобретательными демонами, человек осмелился переплывать реки на расщепленном и выдолбленном стволе дерева, он придумал колесо, жернов и плуг; соха взрезала землю плодоносной раной, и зерно дало человеку, который его истолок, божественную пищу. Он научился лепить посуду из глины и вырубать различные орудия из кремня. Так, пребывая среди людей, мы утешали и наставляли их. Мы не всегда были видимы для них, но вечерами, на поворотах дорог мы часто являлись им в причудливых и странных обликах или представляли величественным и прекрасным видением, принимая, по желанию, то вид водяного или лесного чудовища, то величавого мужа, то прелестного ребенка или женщины с пышными бедрами. Мы нередко пользовались случаем посмеяться над ними в песнях или испытать их ум какой-нибудь веселой шуткой. Были среди нас и такие неугомонные, которым доставляло удовольствие дразнить их женщин и детей, но мы всегда были готовы прийти на помощь им, нашим меньшим братьям.

Благодаря нашим стараниям их умственный кругозор настолько расширился, что они обрели способность заблуждаться и делать ошибочные умозаключения о связи явлений. Полагая, что образ связан с действительностью магическими узам, они покрывали фигурами животных стены своих пещер, вырезали из слоновой кости изображения оленей и мамонтов, чтобы завладеть добычей, которую они запечатлели в этих изображениях. Века с бесконечной медлительностью проходили эту младенческую пору их разума. Мы посылали им во сне полезные мысли, обучали их укрощать лошадей, холостить быков, приучать собак стеречь стада овец. Постепенно они создали семью, племя. Однажды на одно из их племен напали свирепые охотники. Тотчас же все мужчины этого племени бросились строить ограду из повозок, за которой собрали женщин, детей, стариков, быков, сокровища, а сами с высоты ограды закидали своих противников смертоносными камнями. Так основался первый город. Рожденный слабым и обреченный на убийство законами Ягве, человек закалил свое сердце в битвах и в войне обрел высшие свои доблести. Он освятил своей кровью священное чувство любви к родине, и этой любви суждено, — если только человек до конца выполнит свое назначение, — объединить в мире весь земной шар. Один из нас, Дедал, подарил человеку топор, отвес и парус. Так сделали мы существование смертных менее горьким и тяжким. Они научились строить на озерах тростниковые деревни, где могли вкушать задумчивый покой, неведомый другим обитателям земли, а когда они стали утолять голод, не затрачивая на это чрезмерных усилий, мы вдохнули в их сердца любовь к красоте.

Они воздвигали пирамиды, обелиски, башни, гигантские статуи, которые улыбались непроницаемо и грозно, они изображали символы деторождения. Научившись узнавать или по крайней мере угадывать нас, люди прониклись к нам страхом и любовью. Самые мудрые из них с благоговейным ужасом старались узреть нас и размышляли над нашими поучениями. Стремясь изъяснить нам свою благодарность, народы Греции и Азии посвящали нам камни, деревья, тенистые рощи, приносили нам жертвы, слагали гимны. Мы были для них богами, и они называли нас Горуссом, Изидой, Астартой, Зевсом, Палладой, Кибелой,

Деметрой и Триптолемом. Сатане поклонялись они под именем Диониса, Эвана, Иакха и Ленея. Он являлся им, облеченный всей мощью и красотой, какие только доступны воображению человека. Очи его были пленительны как лесные фиалки, уста горели, как рубин раскрывшегося граната, бархатный пушок, более нежный, чем у персика, покрывал его подбородок и ланиты, белокурые волосы, сплетенные венцом и завязанные небрежным узлом на затылке, были увиты плющом, он чаровал диких зверей и, проникая в глубь лесов, привлекал к себе всех непокорных духов, всех тех, что ютятся на деревьях и выглядывают из-за ветвей горящими зрачками, всех свирепых и пугливых тварей, что питаются горькими ягодами и в чьей мохнатой груди бьется неистовое сердце, всех этих лесных полулюдей, которых он наделял добрыми чувствами и грацией, и они все следовали за ним, опьяненные радостью и красотой. Он насадил виноградную лозу и научил смертных давить гроздья, чтоб добывать из них вино. Лучезарный, благотворящий, он проходил по земле со своей многочисленной свитой, и я, чтоб сопроводить его, принял облик козлоногого; на лбу у меня торчали два маленьких рога, нос был приплюснут, а уши заострены. Два желвака, как у козы, свисали с моей шеи, сзади болтался козлиный хвост, а мохнатые ноги заканчивались черными раздвоенными копытами, которые мерно ударяли о землю.

Дионис совершил свое триумфальное шествие по свету. Я прошел с ним Лидию, фригийские поля, знойные равнины Персии, вздымающую снежные вершины Мидию, счастливую Аравию, богатую Азию, цветущие города которой омывает море. Он двигался на колеснице, запряженной львами и рысями, под звуки флейт, кимвалов и тимпанов, изобретенных для его празднеств. Вакханки, фиады и менады, опоясанные леопардовыми шкурами, потрясали тирсами, увитыми плющом; за ними следовали сатиры, во главе веселой толпы которых шел я, затем силены, паны и кентавры. Цветы и плоды рождались под его стопами, он ударял своим тирсом о скалы, и из них, играя, бежали прозрачные ключи.

Во время сбора винограда он пришел в Грецию; поселяне сбегались к нему навстречу, окрашенные зеленым и красным соком растений; они закрывали лица масками из дерева, коры или листьев и, держа в руке глиняную чашу, кружились в сладострастных плясках. Их жены, подражая спутницам бога, увенчивали свои головы зеленым плющом и опоясывали гибкие бедра шкурами ланей и козлят. Девушки вешали себе на шею гирлянды из фиг, пекли пшеничные лепешки и носили фаллус в освященных корзинах. Виноградари, испачканные винным суслем, стоя в своих повозках и обмениваясь с прохожими шутками и ругательствами, создавали начатки трагедии.

Однако не сладостной дремотой на берегу ручья, но тяжким трудом научил Дионис людей возделывать поля и возвращать сочные плоды. И когда он раздумывал о том, как превратить грубых обитателей леса в племя, дружественное лире, подчиняющееся справедливому закону, не раз по его челу, горевшему вдохновением, пробегала тень печали и мрачного исступления. Но его глубокая мудрость и любовь к людям позволили ему преодолеть все препятствия. О божественные дни! О прекрасная заря жизни! На косматых вершинах гор и на золотистых берегах морей мы предавались вакханалиям. Наяды и орады присоединялись к нашим играм, и Афродита при нашем приближении выходила из пены волн и улыбалась нам.

ГЛАВА XIX, продолжение рассказа

Когда люди научились возделывать землю, пасти стада, обносить стенами священные крепости и узнавать богов по их красоте, я удалился в эту мирную страну, что лежит среди густых лесов, орошаемых Стимфалом, Ольбием, Эриманфом и гордым Кратисом, вздувшимся от ледяных потоков Стикса, и здесь в прохладной долине у подножия холма, поросшего ежевикой, оливковыми деревьями и соснами, под сенью платанов и седых тополей, на берегу ручья, бегущего с нежным журчанием среди густых мастиковых деревьев, я рассказывал пастухам и нимфам о рождении мира, о происхождении огня, прозрачного

воздуха, воды и земли. Я рассказывал им о том, как первые люди жили в лесах, жалкие и нагие, до тех пор, пока изобретательные духи не научили их искусствам; о празднествах нашего бога и о том, почему Семела считается матерью Диониса, благодарная мысль которого зародилась в молнии.

Этот излюбленный демонами народ — эти счастливые греки не без труда постигли мудрые законы и искусства. Первым их храмом была хижина из лавровых веток; первым изображением богов — дерево; первым алтарем — необтесанный камень, обогранный кровью Ифигении. Но в короткое время они достигли той степени мудрости и красоты, к которой ни один народ ни до них, ни после них не мог приблизиться. Откуда же явилось, Аркадий, это чудо, единственное на земле? Почему священная почва Ионии и Аттики могла взрастить этот несравненный цветок? Потому что там не было ни духовенства, ни догмы, ни откровения и греки не ведали завистливого бога. Из своего гения, из своей собственной красоты творил эллин богов, и когда он обращал взор к небу, он видел в нем лишь свой образ. Ко всему подходил он со своим мериллом и нашел для своих храмов совершенные пропорции; все в них грация, гармония, равновесие и мудрость; все достойно бессмертных, которые там обитали и в своих благозвучных именах и совершенных формах воплощали гений человека. Колонны, поддерживающие мраморные архитравы, фризмы и карнизы, имели что-то человеческое, что сообщало им величие, и нередко, как, например, в Афинах и Дельфах, прекрасные юные девы, мощные и улыбающиеся, держали на вытянутых руках кровли сокровищниц и святилищ. О сияние, гармония, мудрость!

Дионис направил свой путь в Италию, где народы, именовавшие его Вакхом, жаждали принять участие в его таинствах. Я отплыл на его корабле, украшенном виноградными ветвями, и высадился в устье желтого Тибра под взглядом двух братьев Елены. Жители Лациума, следуя наставлениям бога, уже научились сочетать побегу вяза с виноградной лозой. Я нашел себе жилище у подножия Сабинских гор, в долине, окруженной лиственным лесом и омываемой светлыми источниками. Я собирал на лугах вербену и мальву. Бледные оливковые деревья, раскинувшие по склону холма свои искривленные стволы, дарили мне маслянистые плоды. Там поучал я людей с упрямыми головами, они не отличались изобретательным умом эллинов, но обладали твердым сердцем, терпеливой душой и почитали богов. Мой сосед, солдат-землепашец, в течение пятнадцати лет нес бремя службы, следуя за римским орлом по морям и горам, и видел, как бегут враги царственного народа. Теперь он водил по борозде пару рыжих волов с широко расставленными рогами и белой звездочкой на лбу. А в это время под соломенной кровлей его целомудренная и строгая супруга толкла чеснок в бронзовой ступке и варила бобы на священном камне очага, а я, его друг, усевшись невдалеке под дубом, услаждал его труд звуками флейты и улыбался его маленьким детям, которые возвращались из лесу, нагруженные сучьями, в тот час, когда солнце, клонясь к закату, удлиняет тени. У калитки сада, где зрели груши и тыквы, где цвели лилии и вечнозеленый акант, стоял Приап, вырезанный из ствола смоковницы, и грозил ворам своим громадным фаллусом, а тростник над его головой, колеблемый ветром, пугал птиц-грабителей. В новолуние благочестивый земледелец приносил своим ларам, увенчанным миртом и розмарином, горсть соли и ячменя.

Я видел, как росли его дети и дети его детей, сохраняя в сердце первоначальное благочестие и не забывая ни приносить жертвы Вакху, Диане и Венере, ни возлиять чистое вино и бросать цветы в источники. Но мало-помалу они утрачивали былое терпение и простоту. Я слышал, как они жаловались, когда поток, разлившийся от обильных дождей, заставлял их строить плотины для защиты отцовского поля. Грубое сабинское вино раздражало их изнеженное нёбо. Они шли в соседнюю таверну пить греческие вина и там под виноградным навесом забывали о времени, глядя, как пляшет флейтистка, изгибая под звуки кротала свои гладкие бедра. Хлебопашцы предавались сладостному досугу под шепот листьев у ручьев, а меж тополями по краям священной дороги уже поднимались величественные гробницы, статуи и алтари, и все чаще слышался грохот колесниц по истертым плитам. Молодое вишневое деревцо, которое принес с собой старый воин,

возвестило нам о далеких завоеваниях консулов, а оды, складывавшиеся под звуки лиры, рассказывали о победах Рима, владыки мира.

Все страны, по которым некогда прошел великий Дионис, превращая диких зверей в людей, усыпая плодами деревья и обильными всходами поля на пути своих менад, теперь вкушали мир под владычеством Рима. Питомец волчицы, солдат и землекоп, друг покоренных народов — римлянин прокладывал дороги от берегов туманного океана до крутых отрогов Кавказа. В городах воздвигались храмы Августу и Риму, и столь сильна была во всем мире вера в латинское правосудие, что в фессалийских ущельях и на косматых берегах Рейна раб, изнемогавший под непосильным бременем, взывал: «Цезарь!» Но почему на этом несчастном шаре из земли и воды все обречено увядать, умирать и самые прекрасные творения оказываются самыми недолговечными? О дивные дочери Греции, о Знание, Мудрость, Красота, благодетельные божества, вы погрузились в непробудный сон еще прежде, чем подверглись надруганию варваров, которые, устремившись на вас из своих северных болот и пустынных степей, уже мчались во весь опор без седла на маленьких мохнатых лошадках.

Милый Аркадий, в то время как терпеливый легионер раскидывал свой лагерь на берегах Фазоса и Танаиса, женщины и жрецы Азии и чудовищной Африки заполняли вечный город, смущая своими чарами сынов Рема. До той поры враг трудолюбивых демонов — Ягве — был известен в мире, который он будто бы создал, всего лишь несколько жалким сирийским племенам, отличавшимся долгое время такой же жестокостью, как и он сам, и непрестанно переходившим из одного рабства в другое. Воспользовавшись римским миром, который повсюду обеспечивал свободу передвижения и торговли и благоприятствовал обмену товаров и идей, этот старый бог стал готовить дерзкий захват вселенной. Он, впрочем, был не единственным, кто отважился на эту попытку. Одновременно с ним целое множество богов, демиургов, демонов, как, например, Митра, Тамуз, старушка Изиды, Евбул, мечтали овладеть умиротворенной землей. Из всех этих духов Ягве, казалось, менее всех других мог рассчитывать на победу. Его невежество, жестокость, чванливость, его любовь к азиатской роскоши, пренебрежение к законам и нелепая причуда оставаться незримым неизбежно должны были оскорблять эллинов и латинян, воспитанных Дионисом и Музами. Он сам чувствовал, что не в его силах завоевать сердца свободных людей, их светлый разум, и поэтому он пустился на хитрость. Чтобы обольстить души, он придумал басню, и хоть она была далеко не столь увлекательна, как те мифы, которыми мы радовали воображение наших античных учеников, но все же могла тронуть слабые умы, какие встречаются всюду и в великом множестве. Он объявил, что все люди с незапамятных времен повинны перед ним в некоем наследственном грехе и за это несут кару и в настоящей жизни и в будущей (ибо смертные по неразумию своему воображают, что их существование будет длиться и в преисподней). Коварный Ягве возвестил, что он послал на землю собственного сына, дабы тот своей кровью искупил долг людей. Нельзя поверить, чтобы страдание искупало вину, и еще менее вероятно, чтобы невинный мог расплачиваться за виновного. Страдание невинного ничего не возмещает, а только прибавляет к старому злу новое зло. Однако нашлись несчастные существа, которые стали поклоняться Ягве и его сыну-искупителю и провозгласили эти откровения как благую весть. Нам следовало быть готовыми к этому безумию. Разве не были мы множество раз свидетелями того, как человек, когда он был нищ и наг, простирался перед всеми призраками, порожденными страхом, и, вместо того чтобы следовать поучениям благодетельных демонов, подчинялся заповедям жестоких демиургов. Ягве своей хитростью уловил души, как сеть. Но он просчитался—это почти ничего не прибавило к его славе. Не он, а его сын снискал поклонение людей и дал свое имя новому культу. Сам же Ягве продолжал оставаться почти неизвестным на земле.

ГЛАВА XX, продолжение рассказа

Новое суеверие распространилось сначала в Сирии и Африке, потом захватило морские порты, где кишел человеческий сброд, проникло в Италию, где в первую очередь заразило куртизанок и рабов, а затем быстро завоевало успех среди городской черни. Но сельские местности еще долгое время оставались нетронутыми этой заразой. Как и прежде, землепашцы посвящали Диане сосну, которую они каждый год орошали кровью молодого кабана, приносили свинью в жертву ларам, чтобы умиловить их, а благодетелю людей, Вакху, козленка ослепительной белизны; и даже если это были совсем неимущие люди, у них всегда находилось немного вина и муки для покровителей очага, виноградника и поля. Мы учили их, что достаточно коснуться алтаря чистой рукою и что боги радуются и скромному приношению. Между тем безумства, вспыхивавшие во множестве мест, возвещали царство Ягве. Христиане жгли книги, разрушали храмы, поджигали города, несли с собой разрушение всюду, даже в пустыню. Там тысячи этих несчастных, обратив свою ярость против самих себя, раздирали себе тело железными острями; и со всех концов земли вопли добровольных жертв возносились к богу, как хвала. Мое тенистое убежище ненадолго избегло бешенства этих одержимых.

На вершине холма, возвышающегося над оливковой рощей, которая каждый день оглашалась звуками моей флейты, стоял с первых дней римского мира маленький мраморный храм, круглый, как хижины предков. У него не было стен. На цоколе высотой в семь ступеней были расположены по кругу шестнадцать колонн с завитками аканта на капителях, поддерживающих купол из белой черепицы. Этот купол прикрывал статую Амура, натягивающего лук, — работу афинского скульптора. Дитя, казалось, дышало; радость сияла на его устах; все части его тела были гармоничны и гибки. Я чтил это изображение могущественнейшего из богов и научил поселян приносить ему в жертву чашу, увитую вербеной и наполненную двухлетним вином.

Однажды, когда я сидел, по обыкновению, у ног божества, обдумывая поучения и песни, к храму приблизился незнакомый человек свирепого вида, с всклокоченной бородой; одним прыжком он перескочил все мраморные ступени и с диким злорадством воскликнул:

— Погибни, отравитель душ, и да погибнут с тобой радость и красота

С этими словами он выхватил из-за пояса топор и занес его над богом. Я схватил его за руку, повалил на землю и стал топтать своими копытами.

— Демон, — крикнул он мне с злобным бесстрашием, — дай мне сокрушить этого идола и тогда можешь меня убить!

Я не внял его ужасной мольбе, я надавил всей своей тяжестью ему на грудь, которая затрещала под моим коленом, и, схватив его обеими руками за горло, задушил нечестивца.

Потом, оставив его валяться с почерневшим лицом и высунутым языком у ног улыбающегося бога, я пошел омыться в священном источнике. Вслед за тем я покинул эту страну, сделавшуюся добычей христиан. Я прошел всю Галлию и достиг берегов Соны, куда Дионис некогда принес виноградную лозу. Христианский бог еще не был известен этим счастливым народам. Они поклонялись густому буку за его красоту и украшали полосками шерстяной ткани его заповедные ветви, ниспадавшие до самой земли. Они поклонялись еще священному источнику и ставили во влажных гротах глиняных божков. Они приносили в дар нимфам лесов и гор маленькие сыры и кувшины с молоком. Но вскоре апостол скорби был послан новым богом и к ним. Он был суше копченой рыбы, но, несмотря на то, что он был изможден постами и бдениями, он с неиссякаемым жаром проповедовал какие-то темные таинства. Он любил страдание, считал его благом, и с яростью преследовал все светлое, прекрасное и радостное. Священное дерево пало под его топором. Он ненавидел нимф за то, что они прекрасны, а когда по вечерам их круглые бедра сверкали сквозь листву, он осыпал их проклятиями. Такое же отвращение он питал и к моей певучей флейте. Несчастный верил, что существуют заклинания, с помощью которых можно изгнать бессмертных духов, обитающих в прохладных гротах, в чаще лесов и на вершинах гор. Он думал, что может победить нас несколькими каплями воды, над которыми он произносил какие-то слова, сопровождая их странными движениями. Нимфы, в отместку, являлись ему по ночам и

будили в нем пламенное желание, которое этот глупец считал греховным, затем они убегали, оглашая поля своим звонким смехом, в то время как их жертва, пылая всем телом, корчилась на своем ложе из листьев. Так смеются божественные нимфы над заклинателями, так издеваются они над злыми и их нечистым целомудрием.

Апостолу не удалось надеть столько зла, сколько ему хотелось, потому что он поучал души простые, послушные природе, а такова уж ограниченность большинства людей, что они не склонны делать выводы из правил, которые им внушают. Маленькая роща, где я жил, принадлежала одному галлу из сенаторского рода, еще сохранившему остатки латинской утонченности. Он любил молодую вольноотпущенницу и делил с нею свое пурпурное ложе, расшитое нарциссами. Рабы обрабатывали его виноградник и сад, а сам он был поэтом и, по примеру Авзония, воспевал Венеру, секущую розами своего сына. Хотя он был христианином, он приносил мне как духу-покровителю здешних мест молоко, плоды и овощи. Я в благодарность услаждал его досуг звуками моей флейты и посылал ему блаженные сны. В сущности эти мирные галлы очень мало знали об Ягве и его сыне.

Но вот горизонт запылал заревом пожара, и пепел, гонимый ветром, посыпался на полянки нашего леса. По дорогам потянулись длинные вереницы возов, крестьяне шли толпами, гоня перед собой скот. Деревни огласились испуганными воплями: «Бургунды!..» И вот показался первый всадник с копьем в руке, весь закованный в сверкающую бронзу, с длинными рыжими волосами, спадающими на плечи двумя косами... А за ним еще два, и еще двадцать, сотни, тысячи всадников, свирепых, забрызганных кровью. Они убивали стариков и детей, насиловали женщин, даже старух, чьи седые волосы прилипали к их подошвам вместе с мозгами новорожденных младенцев. Мой молодой галл и его вольноотпущенница обагрили своей кровью ложе, расшитое нарциссами. Варвары зажигали базилики, чтобы жарить в них целых быков, разбивали амфоры и напивались тут же, в жидкой грязи затопленных подвалов. За ними следом, набившись в походные повозки, ехали их полуголые жены.

После того как сенат, горожане и духовенство погибли в огне, охмелевшие бургунды повалились спать под арками форума, а две недели спустя уже можно было видеть, как один из них улыбался в густую бороду, глядя на ребенка, которого белокурая супруга баюкала на пороге дома, другой разводил огонь в горне и мерно колотил молотом по железу, а тот, усевшись под дубом, пел обступившим его товарищам про богов и героев своего народа, А иные раскладывали для продажи камни, упавшие с неба, рога зубров, амулеты. И прежние обитатели страны, мало-помалу успокаиваясь, выходили из лесов, куда они попрятались, отстраивали свои сожженные жилища и принимались снова возделывать поля и подрезать виноградные лозы. Жизнь вступала в свои права. Но все же это была самая тяжелая пора из всех, какие когда-либо выпадали на долю человечества. Варвары завладели империей. У них были грубые нравы, а так как они кроме того, были мстительны и жадны, то они твердо верили, что можно откупаться от грехов. Басня о Ягве и его сыне пришлась им очень по вкусу и они охотно поверили в нее, тем более что она перешла к ним от римлян, которых они считали учнее себя и втайне восхищались их искусством и обычаями. Увы, Греция и Рим достались в наследство глупцам. Знание утратилось, петь в церковном хоре почиталось доблестью, а люди, которые помнили наизусть несколько изречений из Библии, слыли великими умами. Конечно, и в то время тоже водились поэты, как водятся птицы, но стихи их хромали на каждой стопе. Древние демоны, добрые гении человечества, лишенные почестей, изгнанные, преследуемые, затравленные, укрылись в лесах. Если они иной раз и показывались людям, то, чтобы держать их в страхе, принимали ужасные обличья, — красную, зеленую или черную кожу, огненные глаза, огромную пасть с кабаньими клыками, рога, хвост, иногда человежье лицо на животе. Нимфы по-прежнему оставались прекрасными. Варвары, не зная ни одного из нежных имен, которые они носили раньше, называли их феями, приписывали им капризный нрав, коварные замашки, боялись их и любили. Мы были унижены, мы потеряли свою власть, но не потеряли мужества и, сохранив неизменным веселый нрав и доброе расположение к людям, мы в эти жестокие времена

остались их верными друзьями. Заметив, что варвары мало-помалу становятся менее угрюмыми и свирепыми, мы пускались на разные хитрости, чтобы под тем или иным видом вступить с ними в общение. Со всяческими предосторожностями и уловками мы подстрекали их не считать старого Ягве непогрешимым владыкой, не подчиняться слепо его приказаниям, не страшиться его угроз. Иной раз нам даже случалось прибегать к искусству магии. Мы беспрестанно побуждали их изучать природу и искать следы античной мудрости. Эти северные воины, несмотря на все их невежество, знали кое-какие ремесла. Они верили, что на небе происходят битвы, звуки арфы вызывали у них слезы. Возможно даже, что они были более способны духом на великие деяния, чем выродившиеся галлы и римляне, земли которых они захватили. Они не умели ни обтесывать камень, ни шлифовать мрамор. Но они привозили порфир и колонны из Рима и Равенны, а правители их употребляли в качестве печатей геммы, вырезанные греками в эпоху расцвета красоты. Они воздвигали стены из кирпичей, искусно расположенных стрелками, и им удавалось строить не лишённые приятности церкви с карнизами, опирающимися на страшные головы, и с тяжелыми капителями, где они изображали пожирающих друг друга чудовищ. Мы обучали их письменности и наукам. Один из наместников их бога, Герберт, брал у нас уроки физики, арифметики и музыки, и про него говорили, что он продал нам душу. Века шли, а нравы оставались дикими. Мир содрогался в огне и крови. Преемники любознательного Герберта, не довольствуясь тем, что владеют душами, — ибо корысть от этого легковеснее воздуха, — пожелали владеть и телами. Они жаждали установить свое господство над всем миром, опираясь на право, которое они будто бы унаследовали от какого-то рыбака с Тивериадского озера. Один из них возомнил на мгновение, что одержал верх над тупым германцем, преемником Августа, но в конце концов духовным владыкам пришлось поделить свое господство со светскими, и народы были обречены терпеть гнет двух властей-соперниц. Жизнь этих народов складывалась в непрерывной чудовищной смуте. Это были сплошные войны, голод, резня. И все бесконечные бедствия, сыпавшиеся на них, люди приписывали своему богу и за это называли его всеблагим и отнюдь не иносказательно, а потому, что лучшим для них был тот, кто сильнее наносил удары. В этот век насилия я, чтобы разумно употребить свой досуг, принял решение, которое может показаться странным, но на самом деле отличалось глубокой мудростью.

Между Соной и Шарольскими горами, где пасутся быки, есть лесистый холм, пологие склоны которого переходят в луга, орошаемые свежим ручьем. Там стоял монастырь, который славился во всем христианском мире. Я спрятал свои козлиные копыта под рясу и сделался монахом в этом аббатстве, где и жил спокойно, вдали от всяких воителей, которые, будь они друзья или враги, одинаково несносны. Человечеству, впавшему в детство, приходилось всему учиться заново. Брат Лука, мой сосед по келье, изучавший нравы животных, утверждал, что ласка зачинает своих детенышей через ухо. Я собирал в полях целебные травы, чтобы облегчать страдания больных, которых до тех пор лечили прикосновением к святым мощам. В аббатстве было еще несколько подобных мне демонов, которых я узнал по копытам и по тому, как приветливо они меня встретили. Мы соединили наши усилия, чтобы просветить закоснелые умы монахов.

В то время как под стенами монастыря маленькие дети играли в камешки, наши монахи предавались другой такой же пустой игре, которой, однако, и я забавлялся вместе с ними, потому что, в конце концов, надо же как-нибудь убить время, — и в сущности, если подумать, это единственное назначение жизни. Наша игра была игрою слов. Она тешила наши изворотливые и в то же время грубые умы, она зажигала споры и сеяла смуту во всем христианском мире. Мы разделились на два лагеря. Один утверждал, что прежде чем появились яблоки, существовало некое изначальное Яблоко, прежде чем были попугаи, был изначальный Попугай, прежде чем развелись распутные чревоугодники-монахи был Монах, было Распутство, было Чревоугодие, прежде чем появились в этом мире ноги и зады — Пинок коленом в зад уже существовал предвечно в лоне божием. Другой лагерь, напротив, утверждал, что яблоки внушили человеку понятие яблока, попугай — понятие попугая,

монахи — понятие монахов, чревоугодия и распутства и что пинок в зад начал существовать только после того, как его надлежащим образом дали и получили. Спорщики распялись, и дело доходило до рукопашной. Я принадлежал ко второму лагерю, ибо он более соответствовал складу моего ума, и впоследствии не случайно был осужден на Суассонском соборе.

Тем временем, не довольствуясь драками между собой, — вассал против сюзерена и сюзерен против вассала, — синьоры задумали идти воевать на восток. Они говорили, насколько мне помнится, что идут освобождать гроб сына господня. Так они говорили; но алчность и жажда приключений влекли их в далекие края на поиски новых земель, женщин, рабов, золота, мирры и ладана. Эти походы — стоит ли говорить — были весьма неудачны, но наши тупоумные соотечественники вынесли из них знакомство с восточными ремеслами и искусствами и вкус к роскоши. С этих пор нам стало легче приучать их к труду и вести их по пути творчества. Мы начали строить храмы чудесной красоты с дерзко изогнутыми арками, стрельчатыми окнами, высокими башнями, тысячами колоколен и острыми шпилями, которые поднимались к небу Ягве, возносятся к нему одновременно и мольбы смиренных и угрозы гордецов, ибо все это было созданием наших рук столько же, сколько и рук человеческих. Странное это было зрелище, когда над постройкой собора бок о бок трудились люди и демоны, — обтесывали, шлифовали, укладывали камни, украшали капители и карнизы рельефами крапивы, терновника, чертополоха, жимолости, земляничных листьев, высекали фигуры дев и святых или причудливые изображения змей, рыб с ослиной головой, обезьян, чешущих себе зад, — словом, каждый творил в своем собственном духе, строгом или шаловливом, величественном или причудливом, смиренном или дерзком, и все вместе создавало гармоническую какофонию, чудесный гимн радости и скорби, торжествующую Вавилонскую башню. Вдохновляемые нами резчики, ювелиры, мастера эмали творили настоящие чудеса; расцвели все ремесла, служащие роскоши, появились лионские шелка, arrasские ковры, реймские полотна, руанские сукна. Солидные купцы отправлялись на ярмарку верхом на кобыле, везя с собой куски бархата и парчи, вышивки, золототканые шелка, драгоценные украшения, серебряную утварь, книги с миниатюрами. Веселые комедианты устанавливали свои подмостки в храмах или на людных площадях и представляли, сообразно своему умозрению, деяния небесные, земные или адские. Женщины носили роскошные уборы и рассуждали о любви. Весной, когда небо одевалось в лазурь, у всех людей, знатных и простых, пробуждалось желание порезвиться на лужке, пестреющем цветами. Скрипач настраивал свой инструмент. Дамы, рыцари и девицы, горожане и горожанки, поселяне и деревенские красотки, взявшись за руки, водили хороводы. Но внезапно Война, Голод и Чума вступали в круг, и Смерть, вырвав, скрипку из рук музыканта, заводила свой танец. Пожары уничтожали села и монастыри, солдаты вешали крестьян на дубе у околицы за то, что они не могли заплатить выкуп, а беременных женщин привязывали к стволу, и волки приходили ночью и пожирали их плод в чреве.

Бедные люди ото всего этого теряли рассудок. И нередко, когда уже в стране царил мир и жизнь спокойно шла своим чередом, они вдруг безо всякой причины, объятые каким-то безумным страхом, покидали свои дома и бежали толпами, полунагие, раздирая себе тело железными крючьями и распевая гимны... Я не виню Ягве и его сына во всем этом зле. Много дурного совершалось помимо него и даже против него, но в чем узнаю я руку милосердного бога (как называли его) — это в обычае, введенном его наместниками и установленном во всем христианском мире: сжигать с колокольным звоном и пением псалмов мужчин и женщин, которые по наущению демонов мыслили об этом боге не так, как подобало.

ГЛАВА XXI, продолжение и конец рассказа

Казалось, что знание и мысль погибли навсегда и что земле уже никогда не видеть

мира, радости и красоты.

Но однажды под стенами Рима рабочие, которые копали землю у края древней дороги, нашли мраморный саркофаг: на стенках его были изваяны игры Амура и триумфы Вакха. Когда подняли крышку, взорам предстала дева. Лицо ее сияло ослепительной свежестью, длинные волосы рассыпались по плечам, она улыбалась, словно во сне. Несколько горожан трепеща от восторга, подняли погребальное ложе и отнесли его в Капитолий. Народ стекался толпами полюбоваться неувядаемой красотой римской девы и стоял, притихнув, ожидая, не пробудится ли божественная душа, заключенная в этом прекрасном теле. В конце концов, весь город был до того взволнован этим зрелищем, что папа, опасаясь не без основания, как бы это дивное тело не стало предметом языческого культа, приказал ночью унести его и тайно похоронить. Напрасная предосторожность! Тщетные старания! Античная красота после стольких лет варварства на мгновение явилась очам людей, и этого было достаточно, чтобы образ ее, запечатлевшись в их сердцах, внушил им пламенное стремление любить и знать. С тех пор звезда христианского бога стала меркнуть и склоняться к своему закату. Отважные мореплаватели открывали новые земли, населенные многочисленными народами, не знавшими старого Ягве, и тогда возникло подозрение, что он и сам их не знал, ибо не возвестил им ни себя, ни своего сына-искупителя. Некий польский каноник доказал вращение земли, и люди обнаружили, что старый демиург Израиля не только не создал вселенной, но даже не имел понятия о ее истинном устройстве. Творения древних философов, ораторов, юристов и поэтов были извлечены из пыли монастырских библиотек и, переходя из рук в руки, вдохновляли умы любовью к мудрости. Даже наместник ревнивого бога, сам папа, больше не верил в того, чьим представителем он был на земле. Он любил искусство, и у него не было иных забот, как только собирать античные статуи и возводить великолепные строения, где оживало мастерство Витрувия, возрожденное Браманте. Нам стало легче дышать. Истинные боги, вызванные из столь длительного изгнания, возвращались на землю. И они вновь обретали здесь свои храмы и алтари. Папа Лев, сложив к их ногам свой папский перстень, тройной венец и ключи, втайне воскурял им жертвенный фимиам. Уже Полимния, опершись на локоть, вновь стала прясть золотую нить своих раздумий; уже целомудренные грации, сатиры и нимфы водили хороводы в тенистых садах: наконец-то на землю возвращалась радость. Но вот — о горе, о напасть, о злосчастье — некий немецкий монах, накачавшись пивом и богословием, восстает против этого возрождающегося язычества, грозит ему, мечет громы и молнии, один восстает против князей церкви и, победив их, увлекает за собой народы, ведет их к реформе, спасающей то, что уже было обречено на гибель. Тщетно наиболее искусные из нас пытались отвлечь его от этой затеи. Один изворотливый демон, которого на земле зовут Вельзевулом, преследовал его неотступно, то смущая его противоречивыми учеными доводами, то дразня коварными шутками.

Упрямый монах запустил в него чернильницей и продолжал свою унылую реформацию. Да что говорить? Этот дюжий корабельщик починил, законопатил и вновь спустил на воду потрепанный бурями корабль церкви, Иисус Христос обязан этому рясоносцу тем, что кораблекрушение оказалось отсроченным, может быть, более чем на десять веков. С тех пор дела пошли все хуже и хуже. После этого толстяка в монашеском капюшоне, пьяницы и забияки, явился, весь проникнутый духом древнего Ягве, длинный и тощий доктор из Женевы, холодный и в то же время неистовый маньяк, еретик, сжигавший на кострах других еретиков, самый лютей враг граций, изо всех сил старавшийся вернуть мир к гнусным временам Иисуса Навина и Судей израильских.

Эти исступленные проповедники и их исступленные ученики заставили даже демонов, подобных мне, рогатых дьяволов, пожалеть о временах, когда сын со своей матерью царили над народами, очарованными великолепием каменного кружева соборов, сияющими розами витражей, яркими красками фресок, изображавших тысячи чудесных историй, пышной парчой, блистающей эмалью рак и дароносиц, золотом крестов и ковчегов, созвездиями свечей в тени церковных сводов, гармоничным гулом органов. Конечно, все это нельзя было

сравнить с Парфеноном, с Панафинейми; но и это радовало глаз и сердце, ибо и здесь все же обитала красота. А проклятые реформаторы не терпели ничего, что пленяло и дарило отраду. Поглядели бы вы, как они черными стаями карабкались на порталы, цоколи, островерхие крыши и колокольни, разбивая своим бессмысленным молотком каменные изображения, изваянные некогда руками демонов и искусных мастеров, — добродушных святых мужей и миловидных праведниц или же трогательных богородиц, прижимающих к груди своего младенца. Ибо, сказать по правде, в культ ревнивого бога проникло кое-что из сладостного язычества. А эти чудовища-еретики искореняли идолопоклонство. Я и мои товарищи делали все, что было в наших силах, чтобы помешать их мерзкой работе, и я например, не без удовольствия столкнул несколько дюжин этих извергов с высоты порталов и галерей на паперть, по которой грязными лужами растеклись их мозги.

Но хуже всего было то, что сама католическая церковь тоже подверглась реформации и от этого стала злее, чем когда-либо. В милой Франции богословы Сорбонны и монахи с неслыханной яростью ополчились против изобретательных демонов и ученых мужей. Настоятель моего монастыря оказался одним из величайших противников науки. С некоторого времени его стали беспокоить мои ученые бдения, и, может быть, он заметил на моей ноге раздвоенное копыто. Этот ханжа обыскал мою келью и обнаружил в ней бумагу, чернила, несколько недавно отпечатанных греческих книг и флейту Пана, висевшую на стене. По этим приметам он признал во мне адского духа и велел бросить меня в темницу, где мне пришлось бы питаться хлебом отчаяния и водою горечи, если бы я не поспешил ускользнуть через окно и найти себе приют в лесах, среди нимф и фавнов.

Повсюду пылали костры и распространялся запах горелого мяса. Повсюду пытали, казнили, ломали кости и вырывали языки. Никогда еще дух Ягве не внушал столь зверской жестокости. И все же не напрасно подняли люди крышку античного саркофага, не напрасно лицезрели они Римскую Деву. Среди этих неслыханных ужасов, когда паписты и реформаторы соперничали в насилиях и злодеяниях, среди пыток и казней разум человеческий вновь обретал силу и мужество. Он дерзал смотреть в небеса и видел там не старого семита, опьяненного жаждой мести, но спокойную и сияющую Венеру Уранию.

И тогда зародился новый порядок вещей, тогда занялась заря великой эпохи. Не отрекаясь открыто и явно от бога своих предков, умы предались двум его смертельным врагам — Науке и Разуму, и аббат Гассенди незаметно оттеснил его в отдаленную пропасть первопричин. Благодетельные демоны, которые просвещают и утешают несчастных смертных, вдохновили самых даровитых людей того времени на создание всякого рода рассуждений, комедий и сказок, совершенных по мастерству. Женщины постигли искусство беседы, дружеской переписки и утонченной вежливости. Нравы приобрели мягкость и благородство, неведомые минувшим временам. В этот век Разума один из его лучших умов, любезник Бернье написал однажды Сент-Эвремону: «Лишать себя удовольствия — великий грех». По одному лишь тому изречению можно судить, насколько подвинулось вперед умственное развитие в европейских странах. Разумеется, эпикурейцы существовали и раньше, но им не хватало сознания своего дара, которое было у Бернье, Шапеля и Мольера. Теперь даже святоши научились понимать природу. И Расин, при всем своем ханжестве, умел не хуже безбожного физика-атеиста вроде Ги-Патэна, разбираться, в какой связи страсти, волнующие людей, находятся с тем или иным состоянием органов человеческого тела.

Даже в моем аббатстве, куда я вернулся после того, как миновали смутные времена, и где ютились только невежды и тупицы, один юный монах, менее невежественный, чем другие, высказал мне мысль, что дух святой изъясняется на плохом греческом языке, наверно, для того, чтобы унижить ученых.

И все же богословие и казуистика по-прежнему свирепствовали в этом обществе разумных людей. Недалеко от Парижа, в тенистой долине, появились отшельники, которых называли «господа». Они считали себя учениками блаженного Августина и с достойным уважением упорством утверждали, что бог священного писания поражает того, кто его

страшится, милует того, кто ему противостоит, не принимает во внимание никаких добрых дел и предаёт гибели, если ему это угодно, самых верных своих слуг; ибо правосудие его не имеет ничего общего с нашим правосудием, и пути его неисповедимы. Однажды вечером я встретил одного из этих «господ» в его садике, где он размышлял, прогуливаясь между грядками капусты и салата. Я склонил перед ним свой рогатый лоб и прошептал ему слова приветия:

— Да хранит вас старый Иегова, сударь мой! Вы его хорошо знаете! О, как вы хорошо его знаете, как вы поняли его нрав!

Святой человек распознал во мне павшего ангела, счел себя обреченным и скоропостижно умер от страха.

Следующий век был веком философии. Развился дух пытливости, исчезло благоговение перед авторитетами. Телесная мощь ослабела, а разум обрел новую силу; Нравы приобрели неведомую ранее любезность. Монахи моего ордена, напротив, становились все невежественнее и грязнее, и теперь, когда в городах царил учтивость, пребывание в монастыре потеряло для меня всякий смысл. Я больше не мог терпеть. Завалив рюкзак подальше, я надел пудренный парик на свой рогатый лоб, запрягал козлиные ноги в белые чулки и с тростью в руке, набив карманы газетами, пустился в свет: я посещал все модные гулянья и сделался завсегдатаем кофеен, в которых собирались литераторы. Я бывал в салонах, где, в качестве удобного новшества, стояли теперь кресла, податливо принимавшие форму человеческого тела, и где собирались мужчины и женщины для рассудительной беседы. Даже метафизики, и те изъяснялись вполне понятным языком. Я приобрел в городе большой авторитет по части экзегетики и, не хвастаясь, могу сказать, что завещание патера Мелье и «Толковая библия» капелланов прусского короля составлены были при моем деятельном участии.

В это время со стариком Ягве случилась пренеприятная забавная история. Один американский квакер с помощью бумажного змея похитил у него молнию.

Я жил в Париже и присутствовал на том ужине, где говорили, что надо задушить последнего попа кишками последнего короля. Вся Франция кипела. И вот разразилась потрясающая революция. Недолговечные вожди перевернутого вверх дном государства правили посредством террора среди неслыханных опасностей. По большей части они были менее жестоки и беспощадны, чем властители и судьбы, которых Ягве насадил в земных царствах. Однако они казались более свирепыми, потому что судили во имя человечности. К несчастью, они склонны были умиляться и отличались большой чувствительностью. А люди чувствительные легко раздражаются и подвержены припадкам ярости. Они были добродетельны, добронравны, то есть весьма узко понимали моральные обязательства и судили человеческие поступки не по их естественным следствиям, а согласно отвлеченным принципам. Из всех пороков, опасных для государственного деятеля, самый пагубный — добродетель: она толкает на преступление. Чтобы с пользой трудиться для блага людей, надо быть выше всякой морали, подобно божественному Юлию. Бог, которому так доставалось с некоторого времени, в общем не слишком пострадал от этих новых людей. Он нашел среди них покровителей, и ему стали поклоняться, именуя его Верховным существом. Можно даже сказать, что террор несколько отвлек людей от философии и послужил на пользу старому демиургу, который казался теперь защитником порядка, общественного спокойствия, безопасности личности и имущества.

В то время как в бурях рождалась свобода, я жил в Отейле и бывал у г-жи Гельвециус, где собирались люди, свободно мыслявшие обо всем. А это было большой редкостью даже после Вольтера. Иной человек не знает страха перед лицом смерти и в то же время не находит в себе мужества высказать необычное суждение о нравах. То же чувство человеческого достоинства, которое заставляет его идти на смерть, принуждает его склонять голову перед общественным мнением. Я наслаждался тогда беседой с Вольнеем, с Кабанисом и Траси. Ученики великого Кондильяка, они считали ощущение источником всех наших знаний. Они называли себя идеологами, были достойнейшими в мире людьми, но

раздражали неотесанные умы тем, что отказывали им в бессмертии. Ибо большинство людей, не умея как следует пользоваться и земной своей жизнью, жаждут еще другой жизни, которая не имела бы конца. В это бурное время наше маленькое общество философов порою тревожили под мирной сенью Отейля патрули патриотов. Кондорсе, великий человек нашего кружка, попал в проскрипционные списки. Даже я, несмотря на свой деревенский вид и канифасовый кафтан, показался подозрительным друзьям народа, которые сочли меня аристократом, и в самом деле, независимость мысли, по-моему, — самый благородный вид аристократизма.

Однажды вечером, когда я следил за дриадами Булонского леса, сверкавшими среди листвы, подобно луне, когда она восходит над горизонтом, меня задержали как лицо подозрительное и бросили в тюрьму. Это было простое недоразумение. Но якобинцы по примеру монахов, чью обитель они захватили, очень высоко ценили беспрекословное повиновение. После смерти г-жи Гельвециус наше общество стало встречаться в салоне г-жи де Кондорсе. И Бонапарт иной раз не пренебрегал разговором с нами.

Признав его великим человеком, мы решили, что он, подобно нам, тоже идеолог. Наше влияние в стране было довольно велико. Мы употребляли это влияние на пользу Бонапарта и возвели его на императорский трон, дабы явить миру нового Марка Аврелия. Мы рассчитывали, что он умиротворит вселенную: он не оправдал наших надежд, и мы напрасно винили его за свою же ошибку.

Спору нет, он намного превосходил прочих людей живостью ума, глубоким искусством притворства и способностью действовать. Непревзойденным властителем делало его то, что он весь жил настоящей минутой, не думая ни о чем, кроме непосредственной действительности с ее настоятельными нуждами. Гений его был обширен и легковесен. Его ум, огромный по объему, но грубый и посредственный, охватывал все человечество, но не возвышался над ним. Он думал то, что думал любой гренадер его армии, но сила его мысли была невероятна. Он любил игру случая, и ему нравилось искушать судьбу, сталкивал друг с другом сотни тысяч пигмеев, — забава ребенка, великого, как мир. Он был слишком умен, чтобы не вовлечь в эту игру старого Ягве, все еще могущественного на земле и походившего на него духом насилия и сластолюбия. Он грозил и льстил ему, ласкал его и запугивал. Он посадил под замок его наместника и, приставив ему нож к горлу, потребовал от него помазания, которое со времен Саула дает силу царям. Он восстановил культ демиурга, пел ему славословия и с его помощью заставил объявить себя земным богом в маленьких катехизисах, распространяемых по всей империи. Они соединили свои грома, и от этого на земле поднялся невообразимый шум.

В то время как забавы Наполеона переворачивали вверх дном всю Европу, мы радовались своей мудрости, хотя нам и было немного грустно сознавать, что эра философии начинается резней, пытками и войнами. Но хуже всего было то, что дети века, впавшие в самое прискорбное распутство, изобрели какое-то живописное и литературное христианство, свидетельствовавшее о слабости ума поистине невероятной, и, в конце концов, докатились до романтизма. Война и романтизм — чудовищные бичи человечества! И какое жалостное зрелище представляют эти люди, одержимые испуганной ребяческой любовью к ружьям и барабанам! Им непонятно, что война, некогда укреплявшая сердца и воздвигавшая города невежественных варваров, приносит самим победителям только разорение и горе, а теперь, когда народы связаны между собою общностью искусств, наук и торговли, война стала страшным и бессмысленным преступлением. О, неразумные сыны Европы, замышляющие взаимную резню, когда их охватывает и объединяет общая цивилизация!

Я отказался от споров с безумцами. Я удалился в это селение и занялся садоводством. Персики моего сада напоминают мне позолоченную солнцем кожу менад. Я сохранил к людям прежнее дружеское чувство, малую толику восхищения и великую жалость, и, возделывая свой клочок земли, я дожидаюсь того пока еще далекого дня, когда великий Дионис в сопровождении фавнов и вакханок придет, чтобы вновь учить смертных радости и красоте и вернуть им золотой век. Ликующий, пойду я за его колесницей. Но кто знает,

увидим ли мы людей в час этого грядущего торжества? Кто знает, не исполнятся ли к тому времени судьбы их иссякшей породы, не возникнут ли новые существа на прахе и останках того, что было человеком и его гением? Кто знает, не завладеют ли царством земным крылатые существа? В таком случае труд добрых демонов еще пригодится: они станут учить искусствам и наслаждению породе пернатых.

ГЛАВА XXII, где мы узнаем, как в антикварной лавке ревностью многовозлюбившей жены было нарушено преступное счастье папаши Гинардона

Папаша Гинардон (как совершенно правильно сообщила Зефирина г-ну Сарьетту) потихоньку вывез картины, мебель и редкости, накопленные на том чердаке дома по улице Принцессы, который он именовал своей мастерской, и обставил ими лавку, снятую на улице Курсель. Он и сам туда перебрался, оставив Зефирину, после пятидесяти лет совместной жизни, без матраца, без посуды, без гроша денег, если не считать одного франка и семидесяти сантимов, которые находились в кошельке несчастной женщины. Папаша Гинардон открыл магазин старинных картин и редкостей и посадил в нем юную Октавию.

Витрина имела весьма достойный вид: там были фламандские ангелы в зеленых мантиях, написанные в манере Жерара и Давида, Саломея школы Луини, раскрашенная деревянная статуэтка святой Варвары — французская работа, лиможские эмали, богемские и венецианское стекло, урбинские блюда; было там и английское кружево, которое, если верить Зефирине, преподнес ей в дни ее блистательного расцвета сам император Наполеон III. В полусумраке лавки мерцало золото, повсюду виднелись Христы, апостолы, патрицианки и нимфы. Одна картина повернута была лицевой стороной к стене — ее показывали только настоящим знатокам, а они встречаются редко. Это была авторская копия «Колечка» Фрагонара, — краски на ней были столь свежи, что, казалось, она еще не успела высохнуть. Так говорил папаша Гинардон. В глубине лавки стоял комод фиалкового дерева, и в ящиках его хранились различные редкости — гуаши Бодуэна, книги с рисунками XVIII века, миниатюры.

На мольберте покоился занавешенный шедевр, чудо, драгоценность, жемчужина: нежнейший Фра Анджелико, весь золотой, голубой и розовый «Венчание пресвятой девы»; папаша Гинардон просил за него сто тысяч франков. На стуле эпохи Людовика XV, перед рабочим столиком ампир на котором красовалась ваза с цветами, сидела с вышиванием в руках юная Октавия. Оставив в чердачном помещении на улице Принцессы свои яркие лохмотья, она являла восхищенным взорам знатоков, посещавших лавку папаши Гинардона, уже не образ возрожденного Рембрандта, не сладостное сияние и прозрачность Вермеера Дельфтского. Спокойная, целомудренная, целыми днями сидела она в лавке совсем одна, меж тем как старик мастерил в каморке под крышей бог весть какие картины. Около пяти часов он спускался в лавку и беседовал с завсегдатаями.

Наиболее усердным из них был граф Демэзон, высокий, тощий, сутулый человек. На его глубоко запавших щеках, из-под самых скул выбивались две узкие прядки волос, которые, постепенно расширяясь, снежной лавиной затопляли подбородок и грудь. Он то и дело погружал в нее свою длинную костлявую руку с золотыми перстнями. Плаксивая в течение двадцати лет свою жену, погибшую в расцвете юности и красоты от чахотки, он всю жизнь проводил в том, что изыскивал способы общения с мертвыми и заполнял скверной мазней свой одинокий особняк. Его доверие к Гинардону не имело границ. Столь же часто появлялся в лавке г-н Бланмениль, управляющий крупным кредитным банком. Это был цветущий и плотный мужчина лет пятидесяти; он мало интересовался искусством и вряд ли хорошо разбирался в нем, но его привлекала юная Октавия, сидевшая посреди лавки, как певчая птичка в клетке.

Г-н Бланмениль не замедлил установить с ней некое дружественное взаимопонимание,

чего по неопытности не замечал только один папаша Гинардон, ибо старик был еще молод в своей любви к Октавии. Г-н Гаэтан д'Эпарвье заходил иногда к папаше Гинардону из любопытства, потому что угадал в нем искуснейшего фальсификатора. Г-н Ле Трюк де Рюффек, этот великий рубака, явился однажды к старому антиквару и поделился с ним своими планами. Г-н Ле Трюк де Рюффек устраивал в Малом дворце историческую выставку холодного оружия в пользу воспитательного дома для маленьких марокканцев и просил папашу Гинардона одолжить ему несколько наиболее ценных экземпляров из его коллекции.

— Мы думали сначала, — говорил он, — устроить выставку, которая называлась бы «Крест и шпага». Сочетание этих двух слов дает вам ясное представление о том, каким духом было бы проникнуто наше предприятие. Мысль и высокопатриотическая, и христианская побудила нас: соединить шпагу-символ чести и крест-символ спасения. Мы заручились в этом деле высоким покровительством военного министра и монсеньера Кашпо. К несчастью, осуществление нашего плана натолкнулось на некоторые препятствия, и его пришлось отложить. Сейчас мы устраиваем выставку шпаги. Я уже составил заметку, в которой разъясняется смысл и значение этой выставки.

— С этими словами г-н Ле Трюк де Рюффек достал из кармана туго набитый бумажник и разыскал среди всевозможных повесток и судебных решений о дуэлях и о несостоятельности грязную, сплошь исписанную бумажку.

— Вот, — сказал он: «Шпага — суровая девственница. Это оружие французское по преимуществу. В эпоху, когда национальное чувство после очень длительного упадка разгорается ярче, чем когда-либо...» и так далее. Понимаете?

И он повторил свою просьбу — одолжить какой-нибудь редкий экземпляр старинного оружия, чтобы его можно было поместить на самом видном месте этой выставки, которая устраивается в пользу воспитательного дома для маленьких марокканцев, под почетным председательством генерала д'Эпарвье. Папаша Гинардон почти не занимался старинным оружием. Он торговал преимущественно картинами, рисунками и книгами. Но его трудно было застигнуть врасплох. Он снял со стены рапиру с ажурной чашкой эфеса в ярко выраженном стиле Людовика XIII — Наполеона III и протянул ее организатору выставки. Тот созерцал рапиру не без уважения, но хранил осторожное молчание.

— Есть у меня кое-что и получше, — сказал антиквар.

И он вынес из чулана валявшийся там среди тростей и зонтов длиннейший меч, украшенный геральдическими лилиями. Меч был поистине королевский: его носил актер Одеона, изображавший Филиппа-Августа на представлениях «Агнессы де Мерани» в 1846 году. Гинардон держал его клинком вниз, в виде креста, благоговейно сложив руки на рукоятке, и весь облик старика дышал такой же верностью престолу, как и самый меч.

— Возьмите его для вашей выставки, — сказал он. — Благородный красавец стоит того. Имя его — Бувин.

— Если мне удастся продать его для вас, — спросил ле Трюк де Рюффек, крутя свои огромные усы, — вы мне что-нибудь дадите за комиссию?..

Через несколько дней папаша Гинардон с таинственным видом показал графу Демэзону и г-ну Бланменилю вновь найденного Греко, изумительнейшего Греко, последней манеры художника. На картине изображен был Франциск Ассизский; стоя на Альвернской скале, он поднимался к небу, как столб дыма, и чудовищно узкая голова его, уменьшенная расстоянием, тонула в облаках. Словом, это был подлинный, самый подлинный, даже слишком подлинный Греко. Оба любителя внимательно созерцали это творение, а папаша Гинардон восхвалял глубокие черные тона картины и возвышенную выразительность образа. Он поднимал руки вверх, чтобы нагляднее показать, как Теотокопули, выросший из Тинторетто, стал выше своего учителя на сто локтей. Это был целомудренный, чистый, могучий, мистический, апокалиптический гений.

Граф Демэзон заявил, что Греко его любимый художник. Что касается Бланмениля, то в глубине души он не так уж восхищался. Открылась дверь, и появился г-н Гаэтан, которого не ждали. Он взглянул на святого Франциска и сказал:

— Черт возьми!

Г-н Бланмениль, стремясь поучиться, спросил у него, что он думает об этом художнике, которым теперь так восторгаются. Гаэтан с готовностью ответил, что он не считает Греко безумцем или сумасбродом, как это полагали раньше. По его мнению, Теотокопули искажал свои образы из-за того, что у него был какой-то дефект зрения.

— Он страдал астигматизмом и страбизмом, — продолжал Гаэтан, — и рисовал то, что он видел и как видел.

Граф Демэзон неохотно принял столь естественное объяснение.

Наоборот, г-ну Бланменилю оно очень понравилось своей простотой,

Гинардон с негодованием воскликнул:

— Уж не скажете ли вы, господин д'Эпарвье, что апостол Иоанн тоже страдал астигматизмом, потому что он увидел жену, облаченную в солнце, венчанную звездами и попирающую ногами луну, увидел зверя о семи головах и десяти рогах и семь ангелов в льняных одеждах, несущих семь чаш, наполненных гневом бога живого?

— В конце концов, — заметил в заключение г-н Гаэтан, — искусством Греко восхищаются с полным основанием, раз у него хватило гениальности заразить своим больным видением других. Кроме того, терзания, которым он подвергает человеческий облик, доставляют радость душам, любящим страдание, а таких гораздо больше, чем принято думать.

— Сударь, — заметил граф Демэзон, поглаживая длинной рукой свою пышную бороду. — Нужно любить то, что нас любит. А страдание любит нас и привязывается к нам. Его надо любить, чтобы вынести бремя жизни. Сила и благодеяние христианства в том и состоит, что оно это поняло... Увы! Я утратил веру, и это приводит меня в отчаяние.

Старик подумал о той, кого он оплакивал уже двадцать лет, а тотчас же разум его помутился, и мысль без сопротивления подчинилась бреду кроткого и грустного безумия.

Он принялся рассказывать, что изучая науки о душе и проделав при содействии необыкновенно чуткого медиума ряд опытов над природой и посмертной жизнью души, он добился изумительных результатов, которые, однако, не удовлетворили его. Ему удалось увидеть душу умершей жены в виде студенистой и прозрачной массы, ничем не напоминавшей тело, которое он так обожал. Самое мучительное в этих сотни раз повторявшихся опытах было то, что студенистая масса, снабженная исключительно тонкими щупальцами, все время двигала ими в определенном ритме, рассчитанном, по-видимому, на передачу знаков, но смысл этих движений невозможно было разгадать.

Пока он рассказывал, г-н Бланмениль все свое внимание уделял юной Октавии, которая сидела тихо, безмолвно, с потупленными глазами.

Зефирина не хотела добровольно уступить своего возлюбленного недостойной сопернице. Она бродила зачастую по утрам, с корзинкой на руке, вокруг антикварной лавки, полная гнева и отчаяния, раздираемая противоречивыми замыслами: ей хотелось то плеснуть в изменника серной кислотой, то броситься к его ногам, обливая слезами и покрывая поцелуями его обожаемые руки. Однажды, подстерегая таким образом своего Мишеля, столь любимого и столь виновного, Зефирина увидела сквозь витрину юную Октавию, вышивавшую у стола, на котором в хрустальном бокале увядала роза.

Тогда, вне себя от ярости, онахватила зонтиком по белокурой голове своей соперницы и обозвала ее шлюхой и тварью. Октавия в ужасе побежала за полицией, а Зефирина, обезумев от горя и от любви, принялась колотить железным концом своего растрепанного старого зонта «Колечко» Фрагонара, черного, как сажа, св. Франциска Греко, пресвятых дев, нимф и апостолов и, сбивая позолоту с Фра Анджелико, вопила:

— Все эти картины — всех этих Греко, Беато Анджелико и Фрагонаров, и Жерара Давида, и Бодуэнов, да, да, и Бодуэнов — все, все, все нарисовал Гинардон, мошенник, негодяй Гинардон. Этого Фра Анджелико, я сама видела, он писал на моей гладильной доске, а Жерара Давида состряпал на старой вывеске акушерки. Ах, свинья! Подожди, я разделаюсь с твоей потаскухой и с тобой, как разделалась с твоими мерзкими полотнами.

И, вытащив за фалды какого-то старого любителя искусства, от страха забившегося в самый темный угол чулана, она призывала его в свидетели злодеяний Гинардона, мошенника и клятвопреступника. Полицейским пришлось силою вести ее из разгромленной лавки. Когда, в сопровождении огромной толпы народа, её вели в полицию, она поднимала к небу горящие глаза и выкрикивала сквозь рыдания:

— Да ведь вы не знаете Мишеля! Если бы вы только знали его, вы бы поняли, что без него жить нельзя. Мишель! Красавец мой, такой добрый, такой чудесный! Божество мое, любовь моя! Я люблю его, люблю, люблю! Я знала всяких высокий особ, герцогов, министров, даже еще повыше... Ни один из них и в подметки не годится Мишелю. Люди добрые, верните мне Мишеля!

ГЛАВА XXIII, в которой обнаруживается изумительный характер Бушотты, сопротивляющейся насилию, но уступающей любви; и пусть после этого не говорят, что автор — женоненавистник

Выйдя от барона Макса Эвердингена, князь Истар зашел в кабачок на Центральном рынке поесть устриц и выпить бутылку белого вина. А так как сила в нем соединялась с осторожностью, он отправился затем к своему другу Теофилю Бэле, чтобы спрятать у музыканта в шкафу бомбы, которыми были наполнены его карманы. Автора «Алины, королевы Голконды» не было дома. Керуб застал Бушотту изображающей девчонку Зигуль перед зеркальным шкафом. Ибо молодая артистка должна была играть главную роль в оперетте «Апаши», которую тогда репетировали в одном большом мюзик-холле. Это была роль проститутки из предместья, непристойными жестами привлекающей прохожего в западню и затем с садистской жестокостью повторяющей перед несчастным, пока его связывают и затыкают ему рот, сладострастные призывы, на которые он поддался. В этой роли Бушотта должна была показать и голос и мимику, и она была в полном восторге.

Акомпаниатор только что ушел. Князь Истар сел за рояль, и Бушотта снова принялась работать. Ее движения были бесстыдны и пленительны. На ней была только короткая юбка и сорочка, которая, соскользнув с правого плеча, открывала подмышку, тенистую и заросшую, как священный грот Аркадии, волосы ее выбивались во все стороны буйными темно-рыжими прядями; влажная кожа издавала запах фиалок и щелочи, от которого невольно раздувались ноздри и который опьянял даже ее самое. И внезапно, потеряв голову от аромата этой жаркой плоти, князь Истар поднялся с места и, ничего не сказав даже глазами, схватил Бушотту в охапку и бросил ее на диванчик, на маленький диванчик в цветах, который был приобретен Теофилом в одном известном магазине в рассрочку с выплатой по десяти франков ежемесячно в течение целого ряда лет. Керуб словно каменная глыба навалился на хрупкое тело Бушотты, дыхание его вырывалось шумно, как из кузнечного меха, его огромные руки кровососными банками впились в ее тело. Если бы Истар привлек Бушотту в свои объятия, хотя бы на минуту, но по взаимному согласию, — у нее не хватило бы сил отказать ему, ибо и сама она была в сильном смятении и возбуждении. Но Бушотта была самолюбива: неприступная гордость пробуждалась в ней при первой же угрозе оскорбления. Она готова была отдаваться, но не допускала, чтобы ее брали силой. Она легко уступала из любви, из любопытства, из жалости, даже и по менее значительным поводам, но скорее умерла бы, чем уступила насилию. Растерянность ее тотчас же превратилась в ярость. Все ее существо возмутилось против насилия. Ногтями, словно заострившимися от бешенства, она исцарапала щеки и веки керуба и, задыхаясь под громадой тела керуба, так сильно напрягла бедра, так напружинила локти и колени, что отшвырнула этого быка с человечесьей головой, ослепленного кровью и болью, прямо на рояль, который издал долгий жалобный стон, в то время как бомбы, вывалившиеся из карманов керуба, с грохотом покатались по полу. А Бушотта, растрепанная, с обнаженной грудью, прекрасная и грозная, кричала, потрясая

кочергой над колоссом:

— Проваливай без разговоров, не то глаза тебе выколю!

Князь Истар отправился на кухню умыться и погрузил окровавленное лицо в миску, где мочла суасонская фасоль. Затем он удалился без гнева и обиды, ибо душа его была полна благородства.

Едва он вышел на улицу, как у двери раздался звонок. Бушотта тщетно звала отсутствующую служанку, затем надела халатик и сама пошла открывать. Весьма корректный и довольно красивый молодой человек вежливо поздоровался с нею, попросил извинения за то, что вынужден сам представиться, и назвал свое имя. Это был Морис д'Эпарвье.

Морис без усталости искал своего ангела-хранителя. Поддерживаемый надеждой отчаяния, он разыскивал его в самых необычайных местах. Он спрашивал о нем у колдунов, магов, кудесников, которые в зловонных лачугах открывают тайны грядущего и, будучи хозяевами всех сокровищ земли, ходят в протертых штанах и питаются колбасой. В этот день он побывал в одном из переулков Монмартра, у некоего жреца Сатаны, занимавшегося черной магией и ворожбой. А после этого отправился к Бушотте по поручению г-жи де ла Вердельер, которая собиралась устроить благотворительный вечер в пользу общества охраны деревенских церквей и хотела, чтобы на нем выступила Бушотта, внезапно и неизвестно почему ставшая модной артисткой. Бушотта усадила посетителя на диванчик в цветах. По просьбе Мориса, она села рядом с ним, и отпрыск благородного рода изложил певице просьбу графини де ла Вердельер. Графиня желала, чтобы Бушотта спела одну из тех апашских песен, которые так восхищают светских людей. К сожалению, г-жа де ла Вердельер могла предложить лишь весьма скромный гонорар, отнюдь не соответствующий дарованию артистки. Но ведь речь шла о благотворительности...

Бушотта согласилась участвовать в концерте и не возражала против урезанного гонорара с щедростью, обычной для бедняков по отношению к богачам и артистов по отношению к людям светского общества. Бушотта способна была на бескорыстие и сочувствовала делу охраны сельских церквей. Со слезами и рыданиями вспоминала она всегда день своего первого причастия и все еще хранила веру детских лет. Когда она проходила мимо церкви, особенно по вечерам, ей хотелось зайти туда. Поэтому она не любила, республики, прилагавшей все старания к тому, чтобы уничтожить церковь и армию. Пробуждение национального чувства радовало ее сердце. Франция возрождалась, и в мюзик-холлах больше всего аплодировали песенкам о наших солдатах и сестрах милосердия. Морис тем временем вдыхал запах темно-рыжих волос Бушотты, острый и тонкий аромат ее тела, всех солей ее плоти, и в нем возникало желание. Он ощущал ее такой нежной, такой горячей, здесь рядом, на маленьком диванчике. Он стал превозносить ее дарование. Она спросила, что из ее репертуара ему больше всего нравится. Он понятия о нем не имел, но сумел ответить так, что она осталась довольна: сама того не заметив, она подсказала ему, ответ. Тщеславная актриса говорила о своем таланте, о своих успехах так, как ей хотелось бы, чтобы о них говорили, и все время, не умолкая, болтала о своих триумфах, с самой, впрочем, чистосердечной наивностью. Морис совершенно искренне расхваливал красоту Бушотты, изящество ее фигуры, свежесть лица. Она сказала, что сохранила хороший цвет лица потому, что никогда не мазалась. Что касается сложения, она признавала, что у нее все в меру и ничего лишнего, а в доказательство провела обеими руками по всем линиям своей прелестной фигуры, слегка приподнимаясь, чтобы очертить изящные округлости, на которых она сидела. Мориса это крайне взволновало.

Наступили сумерки. Она предложила зажечь свет, но Морис попросил ее не делать этого. Беседа продолжалась, сперва веселая и шутливая, затем она стала более интимной, очень нежной и, слегка томной. Бушотте казалось теперь, что она уже давно знает г-на Мориса д'Эпарвье, и, считая его вполне порядочным человеком, она разоткровенничалась. Она сказала ему, что родилась с задатками честной женщины, но мать ее была жадная и бессовестная. Морис вернул Бушотту к разговору о ее собственной красоте и искусной

лестью раздувал ее восхищение самой собой. Терпеливо и с расчетом, несмотря на разгоревшуюся в нем страсть, возбуждал он и поощрял в предмете своего желания стремление нравиться еще больше. Халатик распахнулся, соскользнул сам собою, и живой атлас плеч блеснул в таинственном вечернем полумраке. Морис оказался так осторожен, так ловок, так искусен, что она упала в его объятия пылающая и опьяненная, даже не заметив, что в сущности не успела еще дать согласие. Их дыхание и шепот слились воедино. И маленький диванчик замирал вместе с ними.

Когда они снова обрели способность выражать свои чувства в словах, она прошептала, прижимаясь к его груди, что кожа у него, пожалуй, нежнее, чем у нее самой. А он, не выпуская ее из объятий, сказал:

— Как приятно сжимать тебя так. Можно подумать, что у тебя совсем нет костей.

Она ответила, закрыв глаза:

— Это потому, что я тебя полюбила. От любви кости у меня словно тают, я становлюсь совсем мягкая и растворяюсь, как телячьи ножки в желе.

Не успела она договорить, как вошел Теофиль, и Бушотта велела ему поблагодарить г-на Мориса д'Эпарвье, который так любезно передал ей лестное предложение, графини де ла Вердельер.

Музыкант был счастлив, что обрел домашний мир и тишину после целого дня напрасных хлопот, нудных уроков, неудач и унижений. Ему навязывали трех новых соавторов, которые поставят свои имена под его опереттой и будут пользоваться авторскими правами наравне с ним. От него требовали также, чтобы он ввел танго при голкондском дворе. Он пожал руку молодому д'Эпарвье и в изнеможении опустился на маленький диванчик, который на этот раз не выдержал — все четыре ножки его подломились, и он внезапно рухнул. И ангел, в ужасе полетев на пол, свалился на часы, зажигалку и портсигар, выскользнувшие из карманов Мориса, и на бомбы, принесенные князем Истаром.

ГЛАВА XXIV, повествующая о злключениях, которые пришлось испытать «Лукрецию» приора Вандомского

Леже-Массье, преемник Леже-старшего, переплетчик с улицы Аббатства, чья мастерская помещалась напротив старинного особняка аббатов Сен-Жермен-де-Пре, в районе, кишевшем детскими садами и учеными обществами, держал немногих, но зато превосходных мастеров и довольно медленно выполнял заказы своих старых клиентов, приученных к терпению. Прошло шесть недель с того дня, как он принял партию книг, присланных Сарьеттом, и они еще не были пущены в работу. Лишь по истечении пятидесяти трех дней, проверив книги по списку, составленному Сарьеттом, переплетчик роздал их своим рабочим. Так как маленького «Лукреция» с гербом приора Вандомского в этом списке не было, решили, что он принадлежит другому заказчику. А ввиду того, что книжка эта вообще не упоминалась ни в одном из полученных перечней, она так и осталась лежать в шкафу, откуда сын Леже-Массье, юный Эрнест, в один прекрасный день потихоньку извлек ее и положил себе в карман. Эрнест был влюблен в жившую по соседству белошвейку по имени Роза. А Роза любила природу, ей нравилось слушать щебетание птиц в рощах. В поисках средств для того, чтобы угостить ее воскресным обедом в Шату, Эрнест за десять франков спустил «Лукреция» дядюшке Моранже, старьевщику с улицы Сент, который не проявлял излишнего любопытства насчет происхождения приобретаемых им вещей. Дядюшка Моранже в тот же день уступил книгу за шестьдесят франков г-ну Пуссару, книгопродавцу без вывески в Сен-Жерменском предместье. Последний стер с титульного листа штамп, указывающий, кому принадлежит этот единственный в своем роде экземпляр, и продал его за пятьсот франков г-ну Жозефу Мейеру, хорошо известному знатоку, который тут же уступил его за три тысячи франков г-ну Ардону, книгопродавцу, а тот сейчас же

предложил эту книгу парижскому библиофилу г-ну Р... который заплатил за нее шесть тысяч и через две недели перепродал с приличным барышом графине де Горс. Дама эта, известная в парижском высшем обществе, была, как говорили в XVII веке, охотница до картин, книг и фарфора. В ее особняке на улице Иены хранятся коллекции предметов искусства, свидетельствующие о разнородных ее познаниях и отличном вкусе. В июле графиня де Горс уехала в свое нормандское поместье Сарвиль, и в ее опустевший особняк на авеню Иены как-то ночью проник вор, явно принадлежавший к банде «коллекционеров», которая занимается специально кражей предметов искусства.

Согласно заключению полицейских властей, злоумышленник взобрался по водосточной трубе на второй этаж, прыгнул на балкон и клещами открыл ставень, затем разбил стекло, поднял шпингалет и проник в большую галерею. Там, взломав ряд шкафов, он взял приглянувшиеся ему предметы, преимущественно мелкие и ценные — золотые коробочки, несколько вещей из слоновой кости XIV столетия, два роскошных манускрипта XV столетия и одну книгу, которую секретарь графини кратко обозначил как «сафьян с гербом», — это и был «Лукреций» из библиотеки Эпарвье.

Преступника, — как подозревали, повара-англичанина, — разыскать не удалось. Но месяца через два после кражи какой-то элегантный, гладко выбритый молодой человек, проходя в сумерки по улице Курсель, заглянул к папаше Гинардону и предложил ему «Лукреция» приора Вандомского. Антиквар заплатил ему сто су, рассмотрел книгу и, убедившись, что экземпляр этот редкий и красивый, спрятал ее в комод фиалкового дерева, где держал самые ценные вещи.

Таковы были злоключения, которые в течение одного лета претерпела эта прелестная книжка.

ГЛАВА XXV, в которой Морис находит своего ангела

Представление кончилось, и Бушотта снимала грим у себя в уборной. Ее пожилой покровитель г-н Сандрак вошел потихоньку, а за ним проникла целая толпа поклонников. Не оборачиваясь, Бушотта спросила, что им здесь надо, чего они все уставились на нее, как дураки, и не воображают ли они, будто находятся на ярмарке в Нейи, в балагане, где показывают всевозможные диковинки: «Милостивые государыни и милостивые государи, опустите десять сантимов в копилку на приданое этой барышне, и вы можете пощупать ее икры: чистый мрамор!».

И, окинув кучку посетителей гневным взглядом, Бушотта крикнула:

— Ну, живо, проваливайте!

Она выставила всех, даже друга сердца, Теофиля, который находился тут же, бледный, растрепанный, кроткий, грустный, близорукий, рассеянный. Но, увидев своего милого Мориса, она улыбнулась. Он подошел к ней, склонился над спинкой ее стула, расхвалил ее игру и голос, заключая каждый комплимент звуком поцелуя. Но ей этого было мало, она все время возобновляла одни и те же вопросы, настаивала, притворялась, что не верит, и вынуждала по два, по три, по четыре раза повторять все те же слова восхищения, а когда он замолкал, казалась такой огорченной, что ему приходилось начинать все сызнова. В театральном искусстве он не был знатоком, и комплименты давались ему нелегко. Но зато он испытывал удовольствие, любясь ее круглыми полными плечами, позлащенными отблеском света, и глядя на отражение ее хорошенького личика в туалетном зеркале.

— Вы были очаровательны.

— Правда?.. Вы не шутите?

— Пленительны, божест...

Внезапно он громко вскрикнул. Перед его глазами возникла в зеркале знакомая фигура, появившаяся в глубине уборной. Он круто повернулся, с распростертыми объятиями бросился к Аркадию и увлек его в коридор.

— Ну, и нравы! — вскричала ошеломленная Бушотта. Но молодой д'Эпарвье уже тащил своего ангела к выходу мимо труппы дрессированных собак и семейства американских акробатов.

Они очутились в прохладной тени бульвара.

— Вот и вы, вот и вы! — повторял Морис, обезумев от радости и все еще не веря своему счастью. — Я вас так долго искал, Аркадий, Мирар, — как вам больше нравится, — наконец-то нашел! Аркадий, вы отняли у меня моего ангела-хранителя, верните же мне его, Аркадий, вы меня не разлюбили?

Аркадий ответил, что ради осуществления сверхангельского замысла, которому он себя посвятил, ему пришлось попать дружбу, жалость, любовь и все чувства, размягчающие душу, но что, с другой стороны, будучи подвержен в своем новом положении страданиям и лишениям, он склонен к человеческой нежности и по инерции испытывает дружеское расположение к своему бедному Морису.

— Ну, что же, — вскричал Морис, — раз вы меня все-таки любите, вернитесь ко мне, останьтесь со мной! Я не могу без вас обойтись. Пока вы были подле меня, я не замечал вашего присутствия. Но как только вы ушли, я ощутил ужасную пустоту. Без вас я словно тело без души. Поверите ли, в моей квартирке на улице Рима, подле Жильберты, я чувствую себя одиноким, скучаю по вас, хочу вас видеть и слышать, как в тот день, когда вы привели меня в такую ярость... Согласитесь, что я был прав и что вы вели себя не так, как подобает человеку из хорошего общества. Как подумаешь, так просто не верится, что вы, вы, существо столь высокого происхождения, столь благородной души, могли совершить такой неприличный поступок. Госпожа дез'Обель до сих пор не простила вас. Она сердится на вас за то, что вы напугали ее, появившись так некстати, и за то, что вели себя чрезвычайно нескромно, когда застегивали ей платье и шнуровали ботинки. А я все забыл. Я помню только, что вы мой небесный брат, святой спутник моих детских лет. Нет, Аркадий, вы не должны, вы не можете расстаться со мною. Вы мой ангел, вы мне принадлежите.

Аркадий стал убеждать молодого д'Эпарвье, что уже не может быть ангелом-хранителем христианина, ибо сам устремился в бездну. И он изобразил себя страшилищем, полным ненависти и злобы — словом, адским духом.

— Ерунда, — сказал Морис, улыбаясь и глядя на него полными слез глазами.

— Увы, милый Морис, все разъединяет нас — наши судьбы, наши взгляды. Но я не могу убить в себе нежное чувство к вам и люблю вас за ваше простодушие.

— Нет! — вздохнул Морис. — Вы меня не любите. И никогда не любили. Со стороны брата или сестры это равнодушие было бы естественно, со стороны друга — это была бы самая обычная вещь, со стороны ангела-хранителя это чудовищно. Аркадий, вы гнусное существо. Я вас ненавижу.

— Я вас горячо любил, Морис, и все еще люблю. Вы смущаете мое сердце, а я считал, что оно укрыто тройной броней. Вы показали мне, насколько я слаб. Когда вы были невинным мальчуганом, я любил вас такой же нежной и гораздо более чистой любовью, чем ваша английская бонна мисс Кэт, которая целовала вас с отвратительным вожделением. В деревне, в то время года, когда тонкая кора платанов начинает сходить длинными полосами, обнажая нежно-зеленый ствол, после дождей, покрывающих скаты дорог тонким слоем песка, я учил вас делать из этого песка, этих полосок коры, из полевых цветов и стеблей папоротника деревенские мостики, хижины дикарей, террасы и садики Адониса, которые существуют не больше часа. В мае месяце, в Париже, мы воздвигали алтарь пресвятой деве и жгли на нем ладан, запах которого, распространяясь по всему дому, напоминал кухарке Марселине церковь в деревне, утраченную девственность и заставлял ее проливать слезы, а у вашей матушки, изнемогавшей посреди роскоши от обычного недуга всех богачей — скуки, вызывал головную боль. Когда вы поступили в коллеж, я следил за вашими успехами, разделял ваши труды и забавы, решал вместе с вами сложные арифметические задачи, старался проникнуть в смысл какой-нибудь трудной фразы из Юлия Цезаря. Сколько раз мы вместе играли в мяч и бегали взапуски! Нередко ощущали мы опьянение победой, и наши

юные лавры не были орошены ни слезами, ни кровью. Морис, я сделал все возможное, чтобы охранить вашу невинность, но мне не удалось воспрепятствовать вам потерять ее в возрасте четырнадцати лет в объятиях горничной вашей матушки. Затем я с огорчением наблюдал., как вы любили женщин самого разнообразного общественного положения, различных возрастов и отнюдь не всегда прекрасных, по крайней мере на взгляд ангела. Опечаленный этим зрелищем, я стал увлекаться наукой. Богатейшая библиотека вашего дома предоставляла мне такие возможности, какие редко где встретишь. Я углубился в изучение истории религий. Остальное вам известно.

— Но теперь, дорогой Аркадий, — сделал вывод молодой д'Эпарвье, — у вас нет ни положения в обществе, ни должности, ни средств к существованию. Вы деклассированный субъект, вы, попросту говоря, бродяга и нищий.

На это ангел не без ехидства возразил, что сейчас он, во всяком случае, одет немного лучше, чем тогда, когда ему пришлось облечься в отрепья самоубийцы.

В свое оправдание Морис заметил, что он одел своего обнаженного ангела в отрепья самоубийцы потому, что был тогда раздражен против этого ангела-изменника. Но зачем вспоминать старое и упрекать друг друга? Сейчас надо прежде всего подумать о том, как быть дальше.

— Аркадий, чем вы намерены заняться?

— Да ведь я уже говорил вам, Морис! Начать борьбу с тем, кто царит в небесах, свергнуть его и посадить на его место Сатану.

— Вы этого не сделаете. Во-первых, момент сейчас неподходящий. Общественное мнение против вас. Вы, как говорит папа, «не идете в ногу с веком». Теперь все — консерваторы, все — за твердую власть. Люди хотят, чтобы ими управляли, и президент республики ведет переговоры с папой римским. Не упрямитесь, Аркадий, вы не такой дурной, каким себя изображаете. В глубине души вы такой же, как все, и любите господа бога.

— Я ведь уже разъяснял вам, милый Морис, что тот, кого вы считаете богом, на самом деле только демиург. Он даже и понятия не имеет о божественном мире, который выше его, и искренне считает себя единым и истинным богом. В «Истории церкви» мон-синьора Дюшена, том первый, страница сто шестьдесят вторая, вы прочтете, что настоящее имя этого тщеславного и ограниченного демиурга Иалдаваоф. И, может быть, этому историку церкви вы поверите больше, чем своему ангелу. Но теперь мне пора уходить, прощайте!

— Оставайтесь!

— Не могу.

— Я не отпущу вас так. Вы лишили меня ангела-хранителя. И вы обязаны возместить мне такой ущерб. Дайте мне другого ангела!

Аркадий возразил, что он не имеет никакой возможности удовлетворить это требование. Он порвал все отношения с владыкой, наделяющим людей духами-хранителями, и тут ему ничего не удастся добиться.

— Итак, дорогой Морис, — добавил он с улыбкой, — придется вам самому просить Иалдаваофа.

— Нет, нет, нет! — вскричал Морис. — Никакого Иалдаваофа не существует! Вы отняли у меня ангела-хранителя, так верните его мне.

— Увы, не могу!

— Не можете, Аркадий, потому что вы бунтовщик?

— Да.

— Враг бога?

— Да.

— Сатанинский дух?

— Да.

— Хорошо! — вскричал юный Морис. — Тогда я буду вашим ангелом-хранителем. Отныне я вас не покину.

И Морис д'Эпарвье повел Аркадия в ресторан есть устрицы.

ГЛАВА XXVI, совещание

Наступил день, когда мятежные ангелы, созванные Аркадием и Зитой на совещание, собрались на берегу Сены в Жоншере, в заброшенном к обветшалом театральном зале, который был снят князем Истаром у трактирщика по имени Баратан. Триста ангелов теснились на скамьях и в ложах. На сцене, где висели лохмотья декорации, изображавшей сельскую местность, поставлены были стол, кресло и несколько стульев. Стены, на которых темперой намалеваны были цветы и плоды, отсырели, потрескались, и штукатурка вместе со всей живописью обваливалась кусками. Но жалкое убожество этого места только подчеркивало величие бушевавших в нем страстей. Когда князь Истар обратился к собранию с предложением избрать комитет и прежде всего назначить почетного председателя, каждому тотчас же пришло на ум одно имя, звучащее во всем мире. Но благоговейное почтение сомкнуло все уста.

И после минутного молчания единогласно избран был отсутствующий Нектарий. Аркадию предложили занять место в кресле между Зитой и одним японским ангелом, и он тотчас же взял слово:

— Сыны неба! Товарищи! Вы освободились от небесного рабства; вы сбросили иго того, кто именуется Ягве, но кого мы здесь должны назвать его настоящим именем Иалдаваофа, ибо он не создатель миров, а всего-навсего невежественный и грубый демиург, который завладел ничтожной частицей вселенной и посеял на ней страдание и смерть. Сыны Неба! Я ставлю перед вами вопрос: хотите ли вы бороться с Иалдаваофом и уничтожить его?

Прозвучал дружный ответ, в котором слились все голоса:

— Да, хотим!

И многие из присутствующих, перебивая друг друга, уже клялись взять приступом гору Иалдаваофа, сокрушить стены из яшмы и порфира и повергнуть небесного тирана во мрак вечной ночи. Но тут чей-то кристально чистый голос прорвался сквозь мрачный гул:

— Нечестивцы, святотатцы, безумцы, трепещите! Господь уже простер над вами карающую десницу!

— Это был ангел, оставшийся верным. В порыве любви и веры, ревнуя к славе исповедников и мучеников, стремясь, подобно богу, которому служил, сравняться с человеком в красоте самопожертвования, он проник в толпу богохульников, чтобы бросить им вызов, обличить их и пасть под их ударами.

Единодушный гнев собрания тотчас же обратился против него. Стоявшие рядом набросились на него с побоями. А он повторял ясным и звонким голосом:

— Хвала богу! Хвала богу! Хвала богу!

Один из мятежников схватил ангела за ворот и задушил в его горле хваления богу. Его повалили на пол, затоптали ногами. Князь Истар подобрал его, взял двумя пальцами за крылья, затем, выпрямившись, словно столб дыма, открыл форточку, до которой никто другой не дотянулся бы, и выбросил в нее верного ангела. Тотчас же восстановился порядок.

— Товарищи, — продолжал Аркадий, — теперь, когда мы подтвердили свое решение, нам следует изыскать способы действия и выбрать из них наилучшие. Поэтому вам придется обсудить вопрос — должны ли мы напасть на врага вооруженной силой, или же будет лучше, если мы поведем длительную и энергичную пропаганду и этим привлечем население небес на свою сторону.

— Война! Война! — раздался единодушный возглас. И казалось, уже слышались звуки труб и бой барабанов.

Теофиль, которого князь Истар насильно притащил на это собрание, поднялся, бледный, растерянный, и дрожащим от волнения голосом произнес:

— Братья мои, не поймите дурно моих слов. Их внушает мне дружеское чувство ко

всем вам. Я только бедный музыкант. Но поверьте мне: замыслы ваши снова разобьются о божественную мудрость, которая все предвидит.

Теофиль Белэ сел под шиканье собравшихся. И Аркадий продолжал:

— Иалдаваоф все предвидит, — не стану этого отрицать. Он все предвидит. Но, чтобы оставить нам свободу воли, он поступает в отношении нас так, как если бы ничего не предвидел. Он поминутно бывает удивлен, растерян. Даже самые вероятные события застают его врасплох. Он сам взял на себя обязательство согласовать свое предвидение со свободой воли людей и ангелов, и это постоянно причиняет ему ужасные затруднения и ставит его в безвыходное положение. Он никогда не видит дальше своего носа. Он не ожидал послушания со стороны Адама и настолько не был подготовлен к злонравию людей, что раскаялся в их создании и утопил весь род человеческий в водах всемирного потопа вместе с ни в чем не повинными животными. По слепоте его можно сравнить только с королем Карлом X, его любимцем. Если мы будем мало-мальски осторожны, его легко будет провести. Думаю, что соображения эти успокоят моего брата.

Теофиль не отвечал. Он любил бога, но боялся разделить участь верного ангела.

Одного из наиболее ученых духов, участвующих в собрании, Маммона, не вполне удовлетворили рассуждения брата Аркадия.

— Вот о чем надо бы подумать, — сказал этот дух. — Иалдаваоф невысоко стоит в смысле умственного развития, но это солдат до мозга костей. Организация рая — чисто военная, основанная на иерархии и дисциплине. Беспрекословное повиновение является там непоколебимым законом. Ангелы представляют собою настоящее войско. Сравните это с Елисейскими полями, как изображает их Виргилий. В Елисейских полях царят свобода, разум, мудрость. Блаженные тени беседуют между собой в миртовых рощах. В небе Иалдаваофа совершенно отсутствует гражданское население. Все мобилизованы, занумерованы, внесены в списки. Это казарма и плац для учения. Подумайте-ка об этом.

Аркадий возразил, что противника надо знать по-настоящему и что военная организация рая гораздо больше напоминает деревушки короля Гле-гле, чем Пруссию Фридриха Великого.

— Уже во время первого восстания, до начала времен, битва продолжалась два дня, и престол Иалдаваофа поколебался. Правда, демиург победил. Но чему он обязан своей победой? Тому, что во время битвы случайно разразилась гроза. Молния, упав на Люцифера и его ангелов, повергла их обугленными и разбитыми. Иалдаваоф обязан своей победой молнии. Молния — его единственное оружие. И он злоупотребляет им. И законы свои он провозгласил среди блеска молний и раскатов грома. «Пламя шествует перед ним», — сказал пророк. Между тем философ Сенека заметил, что молния, падая на землю, приносит гибель немногим, но всех повергает в страх. Это было правильно по отношению к людям первого века христианской эры, но неверно в отношении ангелов двадцатого века. Что демиург, несмотря на все свои громы, не слишком силен, доказывает тот безумный страх, который овладел им, когда люди начали строить башню из необожженного кирпича и горной смолы. А если мириады небесных духов, снабженные орудиями, которые может предоставить в их распоряжение современная наука, начнут штурмовать небо, неужели вы думаете, что старый владыка солнечной системы, со своими ангелами, вооруженными, как во времена Авраама, будет в силах долго сопротивляться? Воины демиурга еще и сейчас носят золотые шлемы и алмазные щиты. Михаил, его лучший полководец, не знает иной тактики, кроме поединков. Он по-прежнему пользуется колесницами фараонов и понятия не имеет даже о македонской фаланге.

И юный Аркадий еще долго проводил параллель между вооруженным стадом Иалдаваофа и сознательными воинами революции. Затем перешли к обсуждению финансовых вопросов.

Зита заявила, что для начала денег хватит, что электрофоры уже заказаны и что первая же победа откроет возможность получить кредит.

Прения продолжались горячие и беспорядочные. В этом парламенте ангелов, как и на

совещаниях людей, праздные слова лились в изобилии. По мере того как дело подходило к голосованию, расхождения возникали все чаще и резче. Никаких споров не вызвало решение о передаче верховного командования тому, кто первый поднял знамя восстания. Но всем хотелось быть ближайшими помощниками Люцифера, и поэтому, рисуя тот тип военачальника, которому следовало отдать предпочтение, каждый из выступавших изображал себя самого. Так, например, Алькор, самый юный из восставших ангелов, поспешил сказать следующее:

— На наше счастье, в армии Иалдаваофа высшие командные должности раздаются по старшинству. Ввиду этого мало шансов, чтобы верховное командование вручено было настоящим большим военачальникам. Не длительным послушанием можно воспитать способность к командованию и не мелочная практика учит руководству большим делом. И древняя и новая история показывают нам, что величайшими полководцами были либо монархи, вроде Александра и Фридриха Второго, либо аристократы, как Цезарь или Тюренн, либо плохие офицеры, каким был Бонапарт. Профессионал же всегда окажется ничтожеством или посредственностью. Товарищи, изберем себе вождей одаренных и во цвете лет. Старик может сохранять привычку к победам, но чтобы приобрести ее, нужна молодость.

Алькора сменил на трибуне склонный к философствованию серафим.

— Война, — сказал он, — никогда не была точной наукой или определенным искусством. Тем не менее в ней проявлялся гений народа или замысел одного человека. Но как определить качества, которые понадобятся главнокомандующему в будущей войне, когда придется иметь дело с такими грандиозными массами и сложными движениями, каких не может охватить ум одного человека? Все возрастающее обилие технических средств истребления, умножая до бесконечности причины возможных ошибок, парализует гений вождей. На известном уровне военного развития, которого почти достигли наши учителя-европейцы, и самый умный полководец и самый невежественный становятся равно бессильными. Другим результатом современных гигантских вооружений является то, что закон больших чисел начинает действовать здесь с непреклонной силой. В самом деле, можно с уверенностью сказать, что десять мятежных ангелов стоят больше десяти ангелов Иалдаваофа. Но мы не можем быть уверены в том, что миллион мятежных ангелов стоит больше, чем миллион ангелов Иалдаваофа. Большие числа в военном деле, как и повсюду, сводят к нулю ум и всякое личное превосходство в пользу того, что может быть названо коллективной душой, весьма примитивной по своим свойствам.

Шум разговоров покрыл голос ангела-философа; когда он заканчивал свою речь, его уже никто не слушал.

Затем трибуна огласилась призывами к оружию и клятвами одержать победу. Раздавались хвалы мечу, защищающему правое дело, и заранее десятки раз под рукоплескания иступленной толпы провозглашалась победа восставших ангелов. Крики: «Да здравствует война!» — возносились к немym небесам.

В разгар возбуждения князь Истар взобрался на эстраду, и подмости застонали под его тяжестью.

— Товарищи, — сказал он. — вы жаждете победы, и желание ваше вполне естественно. Но ясно, что вы отравлены литературой и поэзией, если надеетесь добиться победы, объявив войну. Мысль затеять войну может теперь прийти в голову только отупевшим буржуа или же запоздалым романтикам. Что такое война? Нелепый маскарад, перед которым изливаются в глупейших восторгах гитаристы-патриоты. Если бы Наполеон обладал практическим умом, он не стал бы воевать, но это был мечтатель, опьяненный Оссианом. Вы кричите: «Да здравствует война!» Вы фантазеры. Когда же вы станете умственно развитыми существами? Существа умственно развитые не добиваются могущества и силы посредством пустых выдумок, из которых состоит военное искусство, то есть тактики, стратегии, фортификаций, артиллерии и прочего вздора. Они не верят в войну, ибо это просто фантазия. Они верят в химию, потому что это наука. Они овладели искусством заключать победу в алгебраическую

формулу.

Вытащив из кармана бутылочку, князь Истар показал ее собравшимся и воскликнул с торжествующей улыбкой:

— Вот она, победа!

ГЛАВА XXVII,

где раскрывается тайная и глубокая причина, весьма часто толкающая одно государство против другого и ведущая к разорению как победителей, так и побежденных, и где мудрый читатель (если таковой найдется, в чем я сомневаюсь) призадумается над метким изречением: «Война-это афера»

Ангелы разошлись. Сидя в траве у подножия Медонских холмов, Аркадий и Зита смотрели на текущую между ивами Сену.

— На этом месте, — сказал Аркадий, — который называют светом, хотя в нем гораздо больше несусветного, чем светлого, ни одно мыслящее существо не вообразит себе, что оно способно уничтожить хотя бы один атом. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, — это изменить кое-где движение отдельных групп атомов или же расположение отдельных клеточек. И, если вдуматься, к этому сводится и все наше великое предприятие. И даже посадив Духа Противоречия на место Иалдаваофа, мы не достигнем большего. Скажите, Зита, в чем же зло: в природе вещей или в их устройстве? Вот что следовало бы знать. Зита, я в полном смятении.

— Друг мой, — ответила Зита, — если бы для того, чтобы действовать надо было познать тайну природы, никто никогда бы не действовал. И никто не жил бы, ибо жить — значит действовать. Неужели, Аркадий, решимость уже изменила вам?

Аркадий стал уверять прекрасного архангела, что его намерение низвергнуть демиурга во мрак вечной ночи непреклонно.

По дороге в облаке пыли ехал автомобиль. Он остановился перед двумя ангелами, и из дверцы высунулся крючковатый нос барона Эвердингена.

— Здравствуйте, небесные друзья, добрый день! — сказал капиталист, сын неба. — Очень рад встретиться с вами. Я должен дать вам полезный совет. Не будьте инертны, не мешкайте, вооружайтесь, вооружайтесь! Не то Иалдаваоф опередит вас. У вас имеется военный фонд; расходуйте его не считая. Только что я узнал, что архангел Михаил сделал на небе крупные заказы на молнии и громовые стрелы. Послушайте меня, приобретите еще пятьдесят тысяч электрофоров. Я принимаю заказ. До свидания, ангелы! Да здоровствует небесная родина!

И барон Эвердинген умчался к цветущим берегам Лувесьенна в сопровождении хорошенькой актрисы.

— Правда ли, что демиург вооружается? — спросил Аркадий.

— Возможно, — ответила Зита, — что там, наверху, другой барон Эвердинген хлопочет о вооружениях.

Некоторое время ангел-хранитель юного Мориса задумчиво молчал, затем он прошептал:

— Неужели мы игрушки в руках финансистов?

— Ах, не все ли равно! — воскликнул прекрасный архангел. — Война — это афера. И всегда была аферой!

Затем они долго обсуждали, какими способами лучше осуществить их грандиозное предприятие. С презрением отвергнув анархические приемы князя Истара, они задумали силами своих отлично обученных и полных энтузиазма отрядов предпринять внезапное и грозное вторжение в царство небесное.

Между тем оказалось, что Баратан, жоншерский трактирщик, сдавший мятежным ангелам театральный зал, был агентом полиции. В своем донесении префектуре он указал на

участников этого тайного собрания как на заговорщиков, подготовляющих покушение на некое лицо, которое они изображали весьма тупым и жестоким и называли «Алабалотом». Агент высказывал предположение, что под этим псевдонимом подразумевался либо президент республики, либо сама республика. Все заговорщики единодушно произносили угрозы по адресу «Алабалота», а один из них, называющий себя князем Истаром, или Кверубом, человек очень опасный, хорошо известный в анархистских кругах и неоднократно судившийся за свои мятежные писания и речи, потрясал бомбой очень небольшого калибра, но, по-видимому, чрезвычайно мощной. Остальные заговорщики не были известны Баратану, хотя он и вращался среди революционеров. Многие из них были очень молоды, совсем безбородые юнцы. Он специально проследил за двумя, произносившими особенно зажигательные речи, — за неким Аркадием, проживающим по улице Сен-Жак, и женщиной, по имени Зита, особой своеобразных нравов, проживающей на Монмартре. Оба они не имели определенных средств к существованию.

Префекту полиции дело это показалось настолько серьезным, что он решил прежде всего снестись с председателем совета министров.

Это был как раз один из тех климактерических периодов в истории Третьей республики, когда французский народ, исполненный любви к твердой власти и преклонения перед силой, считает, что он погибнет, если им не будут управлять более энергично, и громкими криками призывает спасителя.

Председатель совета министров, занимавший пост министра юстиции, не желал ничего лучшего, как явиться этим спасителем. Но для того, чтобы стать им, надо было обнаружить какую-нибудь опасность и предотвратить ее. Поэтому, известие о заговоре было ему в высшей степени приятно. Он расспросил префекта полиции о характере дела и степени его серьезности. Префект полиции доложил, что заговорщики, по-видимому, обладают средствами, умом и энергией, но они слишком много болтают и вообще слишком многочисленны, чтобы действовать тайно и согласно. Откинувшись на спинку кресла, министр стал размышлять. Письменный стол стилия ампир, за которым он сидел, старинные гобелены, покрывавшие стены, большие часы и канделябры эпохи Реставрации все в этом традиционном кабинете, казалось, внушало ему великие принципы управления государством, остающиеся неизменными при любой перемене режима, хитрость и смелость. После краткого раздумья он решил, что следует дать заговору разрастись и принять более четкие формы, что, пожалуй, полезно даже поддержать его, раздуть, приукрасить и задуть лишь после того, как из него будет извлечена максимальная выгода.

Он велел префекту полиции внимательно следить за этим делом и каждый день представлять подробный отчет о ходе событий, ограничиваясь ролью информатора.

— Полагаюсь на ваше всем известное благоразумие: наблюдайте, но не вмешивайтесь.

И министр закурил папиросу. С помощью этого заговора он рассчитывал ослабить оппозицию, упрочить свою власть, опередить коллег, посрамить президента республики и стать вождящим спасителем.

Префект полиции обещал следовать во всем указаниям министра, но про себя решил действовать по своему усмотрению. Он устроил слежку за лицами, названными Баратаном, и велел агентам не вмешиваться ни под каким видом. Заметив, что за ним следят, князь Истар, у которого сила сочеталась с осторожностью, вынул из водосточной трубы скрытые там бомбы и, перепрыгивая с автобуса в метро и из метро опять в автобус, ловкими обходными маневрами пробрался к ангелу-музыканту и спрятал у него свои смертоносные снаряды.

Аркадий, выходя из своего дома на улице Сен-Жак, неизменно встречал у дверей какого-то преувеличенно элегантного господина в желтых перчатках и с бриллиантом в галстучке, более крупным, чем «Регент». Чуждый земным делам, мятежный ангел не придавал этой встрече никакого значения. Но юный Морис д'Эпарвье, взявший на себя обязанность охранять своего ангела-хранителя, с беспокойством смотрел на этого джентльмена, не менее упорного и еще более бдительного, чем г-н Миньон, который в свое время озирали испытующим взглядом улицу Гарансьер — от бараньих голов особняка де ла Сордьер до

абсиды церкви св. Сульпиция. Два или три раза в день Морис заходил к Аркадию в меблированные комнаты, предупреждал об опасности и торопил переменить квартиру.

Каждый вечер он водил своего ангела в ночные кабачки, где они ужинали с девицами. Там юный д'Эпарвьё делился своими прогнозами относительно исхода предстоящего состязания боксеров, затем силился доказать Аркадию бытие бога, необходимость религии и красоту христианской веры, заклиная его отказаться от нечестивых и преступных замыслов, которые не принесут ему ничего, кроме самого горького разочарования.

— Ибо, в конце-то концов, — говорил юный апологет, — если бы христианство было ложно, все бы уже давно знали об этом.

Девицы одобряли религиозные чувства Мориса, и когда прекрасный Аркадий высказывал какие-нибудь богохульные мысли на понятном им языке, они затыкали уши и требовали, чтобы он замолчал, из страха, как бы гнев божий не поразил их вместе с Аркадием. Ибо они полагали, что бог, всемогущий и всеблагодный, молниеносно карая за оскорбление, способен безо всякого дурного умысла поразить невинного наравне с грешником.

Иногда ангел в сопровождении своего хранителя отправлялся ужинать к ангелу-музыканту. Морис, время от времени вспоминая, что он любовник Бушотты, с неудовольствием наблюдал крайне вольное обхождение Аркадия с танцовщицей. Бушотта разрешала Аркадию эти вольности с тех пор, как они соединились на маленьком диванчике в цветах, едва только ангел-музыкант починил его. Морис, сильно любивший г-жу дез'Обель, слегка любил и Бушотту и немного ревновал ее к Аркадию. А ревность — чувство, естественное и для людей и для животных, даже будучи легкой, причиняет им жгучую боль. Поэтому, угадывая истину, что было нетрудно, если принять во внимание темперамент Бушотты и характер ангела, Морис осыпал Аркадия насмешками и упреками, и уличал его в безнравственности. Аркадий спокойно возражал, что физиологические потребности трудно подчинить строго определенным правилам и что моралисты — всегда наталкивались на большие затруднения в вопросе о некоторых видах внутренней секреции.

— Кстати, — сказал Аркадий, — я охотно признаю, что построить систему естественной морали почти невозможно. Природа не знает нравственных принципов. Она не дает нам никаких оснований считать, что человеческая жизнь достойна уважения. Равнодушная природа не делает разницы между добром и злом.

— Вы сами видите, — ответил на это Морис, — что религия необходима.

— Заповеди морали, данные людям якобы путем откровения, на самом деле основаны на грубейшем эмпиризме. Нравами управляет только обычай. То, что предписывает небо, есть лишь освящение старых привычек. Божественный закон, возведенный на каком-нибудь Синае среди фейерверков, представляет собою только кодификацию человеческих предрассудков. А так как нравы меняются, то и религии, имеющие долгую жизнь, вроде иудео-христианства, меняют свою мораль.

— Ну, хорошо, — сказал Морис, чье умственное развитие заметно продвинулось вперед, — должны же вы согласиться, что религия предохраняет от распущенности и преступлений?

— Кроме тех случаев, когда она подстрекает к этому, как, например, к убийству Ифигении.

— Аркадий, — вскричал Морис, — слушая ваши рассуждения, я просто радуюсь, что я не ученый человек!

Теофиль тем временем сидел, склонясь над роялем, и лица его не было видно под завесой белокурых волос. Высоко поднимая над клавишами свои вдохновенные руки, он разыгрывал и пел подряд все партии своей «Алины, королевы Голконды».

Князь Истар, заходя на эти дружеские собрания, извлекал, из карманов бомбы и бутылки шампанского, — тем и другим он обязан был щедрости барона Эвердингена. Бушотта с удовольствием встречала керуба, с тех пор как он стал в ее глазах свидетелем и вместе с тем трофеем победы, одержанной ею на маленьком диванчике в цветах. Он был для

нее тем, чем была голова Голиафа в руке юного Давида. Кроме того, ее восхищало в князе искусство аккомпаниатора, сила, которую она одолела, и изумительная способность пить.

Однажды ночью молодой д'Эпарвье провожал ангела в автомобиле от Бушотты в меблированные комнаты на улице Сен-Жак. Небо было совсем черное; у дверей бриллиант сыщика сиял, как маяк. Три велосипедиста, собравшиеся под его лучами, исчезли в различных направлениях, как только показался автомобиль. Ангел не обратил на это никакого внимания, но Морис понял, что каждый шаг Аркадия интересует разных влиятельных в государстве лиц. Отсюда он заключил, что опасность стала вполне реальной, и тотчас же принял решение.

На следующее же утро он явился к своему поднадзорному, чтобы отвезти его на улицу Рима. Ангел еще лежал в постели. Морис потребовал, чтобы он поскорее оделся и поехал вместе с ним.

— Едемте, — сказал он. — В этом доме вы уже не можете считать себя в безопасности. За вами следят. Рано или поздно вас заберут. Хотите жить в тюрьме? Нет? Так поедemте. Я отвезу вас в надежное место.

Дух с легкой жалостью улыбнулся своему, наивному спасителю.

— Разве вы не знаете, — сказал он, — что ангел разбил двери темницы, куда был брошен Петр, и освободил апостола? Или вы думаете, юный Морис, что я слабее своего небесного собрата и не сумею сделать для себя то, что он сделал для рыбака с Тивериадского озера?

— Нельзя на это рассчитывать, Аркадий. Он совершил это с помощью чуда.

— Или «чудом», как говорит один современный нам историк церкви. Но все равно. Поедемте. Только дайте мне сжечь несколько писем и собрать книги, которые мне нужны.

Он бросил в камин какие-то бумаги, рассовал по карманам несколько книг и пошел за своим провожатым к автомобилю, который ожидал их неподалеку, у здания Коллеж-де-Франс, Морис сел за руль. Подражая осторожности керуба, он сделал столько зигзагов, объездов и внезапных поворотов, что сбил бы со следа любое количество самых проворных велосипедистов, посланных, ему вдогонку. Наконец, исколесив город по всем направлениям, он остановился на улице Рима перед квартирой в первом этаже, где в свое время произошло явление ангела.

Войдя в комнаты, из которых он вышел полтора года назад чтобы осуществить свою миссию, Аркадий вспомнил невозвратное прошлое, вдохнул аромат Жильберты, и ноздри его задрожали. Он спросил, как поживает г-жа дез'Обель.

— Отлично, — ответил Морис, — она немного пополнила и очень похорошела. Она еще сердится на вас за вашу нескромность. Надеюсь, что когда-нибудь она вам простит, как простил я, и забудет ваше оскорбительное поведение. Но сейчас она еще очень раздражена.

Молодой д'Эпарвье предоставил квартиру в распоряжение своего ангела с любезностью хорошо воспитанного человека и нежной заботливостью друга.

Он показал ему складную кровать, которую нужно будет каждый вечер расставлять в первой комнате, а по утрам убирать в чулан, показал ему туалетный столик со всеми принадлежностями, ванну, бельевой шкаф, комод, дал все необходимые указания насчет освещения и отопления, предупредил, что швейцар будет приносить еду и убирать помещение, и указал кнопку, которую нужно нажимать, чтобы вызвать этого служителя. Наконец он добавил, что Аркадий может считать себя полным хозяином квартиры и принимать кого ему заблагорассудится.

ГЛАВА XXVIII, посвященная тяжелой семейной сцене

Пока у Мориса, были любовницы из круга порядочных женщин, его поведение не давало повода для упреков. Все пошло иначе, когда он стал посещать Бушотту. Мать его, которая закрывала глаза на связи хотя и греховные, но не выходившие за пределы светского

круга и не вызывавшие никаких толков, была возмущена, узнав, что сын ее открыто показывается с какой-то певичкой. Юная сестра Мориса, Берта, знала назубок, как катехизис, любовные похождения брата и безо всякого негодования рассказывала о них своим подружкам. Малютка Леон, которому только что исполнилось семь лет, заявил однажды матери в присутствии нескольких дам, что он, когда вырастет, будет кутить так же, как Морис. Материнское сердце г-жи Ренэ д'Эпарвье было тяжело уязвлено.

В то же самое время одно серьезное домашнее происшествие сильно встревожило г-на Ренэ д'Эпарвье. Ему были переданы векселя, которые сын подписал его именем. Почерк не был подделан, но намерение сына выдать свою подпись за подпись отца не оставляло сомнений. Это был моральный подлог. Случай этот явно свидетельствовал о том, что Морис кутит, влезает в долги и способен не сегодня-завтра совершить какой-нибудь неблагоприятный поступок. Отец семейства посоветовался по этому поводу с женой. Решено было, что он сделает сыну суровое внушение, пригрозит строгими мерами, а через несколько минут после этого явится огорченная и нежная мать, чтобы склонить к милосердию справедливо негодующего отца. Договорившись с женой, г-н Ренэ д'Эпарвье на другой день утром велел позвать сына к себе в кабинет. Для вящей торжественности он облачился в сюртук. По этому признаку Морис понял, что разговор будет серьезный. Глава семьи, немного бледный, заявил неуверенным голосом (он был застенчив), что не может больше терпеть распутного образа жизни, который ведет его сын, и требует немедленного и полного исправления. Довольно кутежей, долгов, дурной компании. Пора начать работать, вести правильную жизнь и встречаться только с порядочными людьми.

Морис с радостью ответил бы почтительно, потому что отец, в сущности, имел все основания упрекать его. К несчастью, Морис тоже был застенчив, а сюртук, который надел г-н д'Эпарвье, что бы с надлежащим достоинством осуществить домашнее правосудие, не допускал, по-видимому, никакой сердечности. Поэтому Морис хранил неловкое молчание, и оно могло показаться дерзким. Это вынудило г-на д'Эпарвье повторить свои упреки, но еще более строгим тоном. Он открыл один из ящиков своего исторического письменного стола (на нем Александр д'Эпарвье написал свой «Трактат о гражданских и религиозных установлениях народов») и вынул оттуда векселя, подписанные Морисом.

— Ты понимаешь, дитя мое, что это самый настоящий подлог? Чтобы искупить столь тяжкую провинность...

В этот момент, как и было условлено, появилась г-жа Ренэ д'Эпарвье в выходном платье. Она должна была олицетворять ангела прощения. Но ни внешность ее, ни характер этому не соответствовали. Она была особа мрачная и черствая. У Мориса имелись задатки всех обиходных и обязательных добродетелей. Он любил и уважал свою мать. Любил больше по долгу, чем по непосредственному влечению, а в его уважении было больше дани обычаю, чем чувства. У г-жи Ренэ д'Эпарвье лицо было в красных пятнах, а так как она сильно напудрилась, чтобы с достоинством предстать на домашнем судилище, цвет лица ее напоминал малину в сахаре. Морис, обладавший вкусом, нашел ее безобразной и даже несколько отталкивающей. Он уже был настроен против нее, а когда она возобновила упреки, которыми ее супруг только что осыпал его, и еще усилила их, блудный сын отвернулся, чтобы не показать своего раздражения.

Она продолжала:

— Твоя тетя де Сен-Фэн встретила тебя на улице в такой дурной компании, что даже была благодарна тебе за то, что ты с ней не поздоровался.

При этих словах Морис прорвало:

— Тетя де Сен-Фэн! Подумаешь! Она шокирована! Кто не знает, что она в свое время пускалась во все тяжкие, а теперь эта старая ханжа хочет...

Он остановился. Его взгляд упал на лицо г-на д'Эпарвье, и на лице этом Морис прочел больше печали, чем негодования. Теперь он уже упрекал себя за свои слова, как за преступление, и не понимал, как они могли у него вырваться. Он готов был разрыдаться, упасть на колени, вымаливать себе прощение, но в этот миг мать его, подняв глаза к потолку,

со вздохом воскликнула:

— И чем только я прогневила господ-бога, за что он дал мне такого, испорченного сына!

Эти слова, которые Морису показались деланными и смешными, словно все перевернули в нем, и от горького раскаяния он сразу же перешел к сладостной гордости преступления. Он целиком отдался неистовому порыву дерзкого возмущения и залпом выпалил слова, которых ни одна мать не должна была бы слышать:

— Если хотите знать правду, мама, так, вместо того чтобы запрещать мне видеться с талантливой и бескорыстной лирической артисткой, вы бы лучше не допускали, чтобы моя старшая сестрица, г-жа де Маржи, показывалась каждый вечер и в театре и в обществе с презренным и гнусным субъектом, о котором всем известно, что он ее любовник. Вам бы следовало также присматривать за моей младшей сестрой, которая сама себе пишет похабные письма, делает вид, будто находит их в своем молитвеннике, и передает вам с невинным видом, чтобы позабавиться вашим огорчением и тревогой. Не вредно было бы также обратить внимание на моего братца Леона, который — даром что ему всего семь лет — буквально истязает мадемуазель Капораль. И можно, было бы заметить вашей горничной...

— Вон отсюда, сударь, я выгоняю вас из своего дома! — вскричал г-н Ренэ д'Эпарвье, бледный от гнева, указывая дрожащим пальцем на дверь.

ГЛАВА XXIX,

из которой видно, что ангел, став человеком, ведет себя по-человечески, то есть желает жены ближнего своего и предает друга; эта же глава покажет безупречность поведения молодого д'Эпарвье

Ангелу понравилось новое жилище. По утрам он работал, днем уходил по делам, невзирая на сыщиков, и возвращался домой ночевать. Как и раньше, два или три раза в неделю Морис принимал г-жу дез'Обель в комнате, где имело место чудесное явление.

Все шло отлично до одного прекрасного утра, когда Жильберта, забывшая накануне вечером на столе в голубой комнате свою бархатную сумочку, явилась за ней и застала Аркадия, который, лежал на диване в пижаме, курил папиросу и размышлял о завоевании неба. Она громко вскрикнула:

— Это вы, сударь!.. Поверьте, если бы я знала, что застаю вас здесь... Я пришла за своей сумочкой, она в соседней комнате... Разрешите...

И она проскользнула мимо ангела испуганно и торопливо, словно мимо пылающей головни.

В это утро г-жа дез'Обель была неподражаемо обаятельна в строгом костюме цвета резеды. Узкая юбка не скрывала ее движений, и каждый шаг ее был одним из тех чудес природы, которые повергают в изумление сердца мужчин.

Она появилась вновь, держа в руках сумочку.

— Еще раз прошу прощения. Я совершенно не подозревала...

— Аркадий попросил ее посидеть с ним хоть минутку.

— Никак не ожидала, сударь, что вы будете принимать меня в этой квартире. Я знала, как сильно любит вас г-н д'Эпарвье, но все же я не предполагала...

Небо внезапно нахмурилось. Рыжеватый полумрак заполнил комнату. Г-жа дез'Обель сказала, что для моциона она пришла пешком, а сейчас собирается гроза. И она попросила послать за такси.

Аркадий бросился к ногам Жильберты, заключил ее в объятия, словно драгоценный сосуд, и принялся бормотать слова, которые сами по себе не имеют никакого смысла, но выражают желание. Она закрывала ему руками глаза и рот, выкрикивая:

— Я вас ненавижу!

Вздрагивая от рыданий, она попросила стакан воды. Она задыхалась. Ангел помог ей растегнуть платье. В эту минуту крайней опасности она защищалась отважно.

Она говорила:

— Нет, нет!.. Я не хочу вас любить. Я бы полюбила вас слишком сильно.

Но тем не менее она уступила.

После взаимного сладостного удивления, в минуту нежной близости, она сказала:

— Я часто спрашивала о вас. Я знала, что вы бываете в мон-мартрских кабачках, что вас часто видят с мадемуазель Бушот-той, хотя она совсем некрасивая, что вы стали очень элегантно одеваться и зарабатывать много денег. Меня это не удивило... Вы были созданы для успеха... В день вашего... — она указала пальцем на угол между окном и зеркальным шкафом, появления я рассердилась на Мориса за то, что он дал вам отрепья какого-то самоубийцы. Вы мне нравились... О, не за красоту. Напрасно говорят, что женщины так уж чувствительны к внешним достоинствам. В любви мы ищем другого. Не знаю, как это определить... Словом, я полюбила вас с первого взгляда.

Сумрак становился все гуще.

Она спросила:

— Вы ведь не ангел, правда? Морис этому верит, но он всему готов поверить...

Она спрашивала ангела взглядом, и глаза ее лукаво улыбались.

— Признайтесь, что вы не ангел, вы просто посмеялись над ним?

Аркадий ответил:

— Я хочу только одного: нравиться вам; я всегда буду тем, кого вы хотите видеть во мне.

Жильберта решила, что он не ангел, во-первых, потому, что нельзя же в самом деле быть ангелом, во-вторых, по причинам особого рода, которые вернули ее к вопросам любви. Он не стал возражать, и еще раз оказалось, что им уже недостает слов, чтобы выразить свои чувства.

На улице лил частый, крупный дождь, вода стекала по окнам, Молния осветила кисейные занавески, стекла задрезбужали от громового раската. Жильберта перекрестилась и прижалась к груди своего любовника. Она сказала ему:

— У вас кожа белее моей.

В то самое мгновение, когда г-жа дез'Обель произносила эти слова, в комнату вошел Морис. Весь мокрый, улыбающийся, доверчивый, спокойный и счастливый, он явился сообщить Аркадию, что их вчерашняя общая ставка в Лоншане принесла им двенадцатикратный выигрыш.

Увидев женщину и ангела в любовном беспорядке, он рассвирепел. От ярости мускулы на шее у него напряглись, лицо побагровело, жилы на лбу вздулись. Сжав кулаки, он бросился на Жильберту, но внезапно остановился.

Заторможенная энергия этого движения перешла в теплоту, Морис весь кипел. Но гнев не вооружил его, как Архилоха, мстительным лиризмом. Он только обозвал изменницу похотливой дрянью.

Тем временем, приведя в порядок свой костюм, Жильберта обрела и прежнее достоинство. Она встала, полная грации и целомудрия, и устремила на обвинителя взор, выражавший и оскорбленную добродетель и всепрощающую любовь.

Но так как молодой д'Эпарвье упорно продолжал осыпать ее грубой бранью, она тоже рассердилась:

— А сами-то вы, нечего сказать, хороши! Что, я ловила его, что ли, вашего Аркадия? Вы сами привели его сюда, да еще в таком виде!.. У вас была только одна мысль: сбить меня вашему другу. Так знайте же, милостивый государь, я вам этого удовольствия не доставлю.

Морис д'Эпарвье ответил на это просто:

— Вон отсюда, тварь!

И он сделал вид, что выталкивает ее пинком за дверь. Аркадию было тяжело видеть, как недостойно обращаются с его возлюбленной, но он не чувствовал достаточной почвы

под ногами, чтобы удержать Мориса. Г-жа дез'Обель, сохраняя все свое, достоинство, обратила на молодого д'Эпарвье повелительный взгляд и сказала:

— Позовите мне такси.

И такова власть женщины над душой светского человека, принадлежащего к галантной нации, что этот молодой француз тотчас же пошел к швейцару и велел ему достать такси. Г-жа дез'Обель окинула Мориса презрительным взглядом, каким женщина дарит, обманутого ею мужчину, и удалилась, стараясь придать всем своим движениям чарующую прелесть. Морис проводил ее взглядом, полным равнодушия, которого он отнюдь не ощущал. Затем он повернулся к Аркадию, облаченному в пижаму с цветочками, ту самую, в которой Морис был в день явления ангела. И это обстоятельство, пустячное само по себе, еще усилило обиду столь гнусно обманутого хозяина.

— Ну, — начал он, — вы поистине презренный субъект. Вы поступили, как подлец, и, между прочим, совершенно напрасно. Если эта женщина вам нравилась, сказали бы мне — и все. Мне она надоела, я ее уже не хотел и с удовольствием уступил бы вам.

Он говорил так, чтобы скрыть свою боль, ибо любил Жильберту сильнее, чем когда-либо, и ужасно страдал от ее измены. Он продолжал:

— Я даже собирался просить вас, чтобы вы меня от нее избавили. Но вы поддались своей подлой натуре и поступили по-свински.

Если бы в эту торжественную минуту Аркадий произнес хоть одно сердечное слово, юный Морис, разрыдавшись, простил бы другу и любовнице, и все трое снова стали бы счастливы и довольны. Но Аркадий не был вскормлен молоком человеческой нежности. Он никогда не страдал и не был способен к состраданию. Поэтому в его ответе звучала только холодная мудрость:

— Мой милый Морис, необходимость, определяющая и связующая поступки одушевленных существ, приводит к последствиям, часто непредвиденным и порой нелепым. Таким образом получилось, что я доставил вам огорчение. Вы бы не стали меня упрекать, если бы усвоили себе философию природы. Вы бы знали тогда, что воля — всего-навсего иллюзия, что физиологическое сродство определено с той же точностью, как и химические соединения, и может быть выражено в таких же формулах. Думаю, что, в конце концов удалось бы внушить вам эти истины, но это был бы долгий и трудный процесс, и возможно, что вы все равно не обрели бы утраченного вами духовного равновесия. Поэтому мне лучше удалиться отсюда и...

— Оставайтесь, — сказал Морис.

Он обладал твердым сознанием общественных обязанностей. В сущности, он ставит честь выше всего. И в этот миг он с необычайной силой ощутил, что нанесенное ему оскорбление может быть смыто только кровью. Овладев им, эта традиционная мысль придала его поведению и речи неожиданное благородство.

— Нет, милостивый государь, не вам, а мне подобает уйти из этой квартиры, чтобы больше никогда в нее не возвращаться. Вы же останетесь здесь, раз вы принуждены скрываться от властей. Здесь же вы примете моих секундантов.

Ангел улыбнулся.

— Я приму их, чтобы доставить вам удовольствие, но не забывайте, милый Морис, что я неуязвим. Небесных духов, даже когда они материализованы, невозможно ранить острием шпаги или пулей пистолета. Представьте себе, Морис, каково будет мое положение на дуэли из-за этого рокового неравенства, и подумайте о том, что, отказываясь, в свою очередь, выставить секундантов, я не могу сослаться на свое небесное происхождение, — этот случай не имел бы прецедентов.

— Милостивый государь, — ответил наследник Бюссаров д'Эпарвье, — об этом нужно было думать до того, как вы нанесли мне оскорбление.

И он вышел с надменным видом. Но, очутившись на улице, он зашатался, как пьяный. Дождь все еще лил. Он шел, ничего не видя и не слыша, шел наугад, спотыкаясь, попадая в канавы, лужи и в кучи грязи. Он долго блуждал по внешним бульварам и, наконец, усталый,

повалился на краю какого-то пустыря. Он был по уши в грязи, все лицо его было измазано грязью, смешанной со слезами, с полей шляпы стекала вода. Какой-то прохожий принял его за нищего и бросил ему два су. Он поднял медную монету, заботливо спрятал ее в жилетный карман и пошел искать себе секундантов.

ГЛАВА XXX, повествующая об одном поединке и позволяющая судить, делаемся ли мы лучше, как это утверждает Аркадий, когда осознаем совершенные нами ошибки

Местом поединка избран был сад полковника Маншона на бульваре Королевы, в Версале. Секундантами Мориса были господа де ла Вердельер и Ле Трюк де Рюффек, которые имели постоянную практику в делах чести и знали все соответствующие правила. В католическом мире ни одна дуэль не обходилась без участия г-на де ла Вердельер, и, обратившись к этому воину, Морис поступил согласно обычаю, хотя и не без неприятного чувства, ибо все знали, что он был любовником г-жи де ла Вердельер. Впрочем, на г-на де ла Вердельер не смотрели, как на мужа: это был не человек, а догмат. Что касается г-на Ле Трюк де Рюффек, то честь была его единственной официальной профессией и единственным признанным средством к существованию. И когда злые языки упоминали об этом в свете, их спрашивали, мог ли г-н Ле Трюк де Рюффек сделать карьеру лучшую, чем карьера чести. Секундантами Аркадия были князь Истар и Теофиль. Ангел-музыкант, скрепя сердце и не по своей воле, принял участие в такого рода деле. Всякое насилие было ему противно, и он не одобрял поединков. Он не выносил звука пистолетных выстрелов и лязга шпаг, а от вида пролитой крови падал в обморок. Этот кроткий сын небес упорно отказывался быть секундантом своего брата Аркадия, и, чтобы заставить его решиться, керуб вынужден был пригрозить, что разобьет о его голову бутылку со взрывчатым веществом. Кроме противников, их секундантов и врачей, в саду присутствовало лишь несколько офицеров версальского гарнизона и довольно много журналистов. Хотя молодого д'Эпарвье знали только как сына почтенных родителей, а Аркадия вообще никто не знал, дуэль привлекла порядочное количество любопытных, и все окна соседних домов были заняты фотографами, репортерами и людьми из общества. Особенное возбуждение вызвало то обстоятельство, что причиной ссоры, как выяснилось, была женщина. Многие называли Бушотту, большинство же указывало на г-жу дез'Обель. Впрочем, давно уже было отмечено, что дуэли, в которых принимал участие г-н де ла Вердельер, привлекали внимание всего Парижа.

Небо было нежно-голубое, сад — полон цветущих роз. На дереве свистел дрозд. Г-н де ла Вердельер, который с тростью в руках руководил поединком, соединил кончики клинков и произнес:

— Начинайте!

Морис д'Эпарвье атаковал дублетами и батманами. Аркадий парировал, не отводя шпаги. Первая схватка не дала результатов. У секундантов создалось впечатление, что г-н д'Эпарвье находится в прискорбном состоянии повышенной нервозности, а что противник его покажет себя неутомимым. Начинается вторая схватка. Морис усиливает нападение, разводит руки и открывает грудь. Он атакует, наступая, наносит прямой удар и острием шпаги касается плеча Аркадия. Все полагают, что тот ранен. Но секунданты с удивлением констатируют, что у Мориса царапина на кисти руки. Морис утверждает, что ему не больно, и доктор Киль после осмотра заявляет, что его клиент может продолжать поединок.

Когда истекает обязательный пятнадцатиминутный перерыв, дуэль возобновляется. Морис нападает все яростнее. Противник явно щадит его и, видимо, защищается небрежно, что беспокоит г-на де ла Вердельер. В начале пятой схватки черный пудель, неизвестно как попавший в сад, выскакивает из-за розового куста, проникает на площадку, отгороженную для сражающихся, и, несмотря на побои и крики, бросается под ноги Мориса. У последнего

как будто онемела рука, и он делает выпады против неуязвимого противника только плечом. Он наносит прямой удар, и сам натывается на шпагу Аркадия, которая глубоко ранит его у сгиба локтя.

Г-н де ла Вердельер прекращает поединок, продолжавшийся полтора часа. Морис испытывает ощущение тяжелого шока. Его сажают на зеленую скамейку у стены, увитой глициниями. В то время, как хирурги перевязывают ему рану, он подзывает к себе Аркадия и протягивает раненую руку. Когда победитель, опечаленный своей победой, подошел к нему, Морис нежно обнял его и произнес:

— Будь великодушен, Аркадий, прости мне твою измену. После того как мы дрались, я могу просить себя о примирении.

— Со слезами поцеловал он друга и шепнул ему на ухо:

— Приходи проведать меня и приведи Жильберту.

Так как Морис все еще был в ссоре с родителями, он велел отвезти себя в маленькую квартиру на улице Рима.

Едва только он лег в постель в той самой спальне, где шторы были спущены, как в тот день, когда явился ангел, к нему вошли Аркадий и Жильберта. Рана уже начала сильно мучить его, температура повышалась, но он был спокоен, доволен, счастлив. Ангел и женщина в слезах упали на колени перед его ложем. Он соединил их руки в своей левой руке, улыбнулся им и нежно поцеловал обоих.

— Теперь я могу быть уверен, что не поссорюсь с вами; больше вы меня не проведете. Я знаю, что вы способны на все.

Жильберта, плача, стала уверять Мориса, что его ввели в заблуждение внешние признаки измены, но что она его не обманула с Аркадием и никогда вообще не обманывала, и, охваченная могучим порывом искренности, она пыталась уверить в этом себя самое.

— Не надо, Жильберта, ты на себя клеветешь, — ответил ей раненый, — это было. И пусть было. И это хорошо, Жильберта, ты правильно поступила, когда низко обманула меня с моим лучшим другом здесь, в этой комнате. Если бы ты этого не сделала, мы бы не собрались здесь все трое, и я не испытал бы этой великой радости, которую я испытываю впервые за всю мою жизнь. О Жильберта, как ты неправа, отрицая то, что было и хорошо кончилось.

— Если тебе так хочется, друг мой, — с легкой горечью ответила Жильберта, — я не буду отрицать. Но только чтобы доставить тебе удовольствие.

Морис усадил ее на кровать и попросил Аркадия сесть в кресло.

— Друг мой, — сказал Аркадий. — Я был непорочен. Я превратился в человека и тотчас же содеял зло. И от этого я стал лучше.

— Не будем ничего преувеличивать, — сказал Морис, — лучше сыграем в бридж.

Но едва больной увидел у себя на руках трех тузов и объявил без козырей, как глаза его затуманились; карты выскользнули у него из рук, отяжелевшая голова упала на подушку, и он стал жаловаться на нестерпимую головную боль. Тотчас вслед за этим г-жа дез'Обель уехала делать визиты. Ей было важно показаться в свете, чтобы своим уверенным и спокойным видом опровергнуть ходившие о ней слухи. Аркадий проводил ее до дверей и вместе с поцелуем вдохнул ее духи, аромат которых он принес в комнату, где дремал Морис.

— Я очень рад, — прошептал тот, — что все произошло именно так.

— Случилось то, что должно было случиться, — ответил дух, — Все ангелы, восставшие, подобно мне, поступили бы с Жильбертой, как я. «Женщины, говорит апостол, — во время молитвы должны закрывать лица из-за ангелов». И апостол говорит так, потому что он знает, что женская прелесть волнует ангелов. Едва коснувшись земли, они уже жаждут соединения со смертными и соединяются с ними. Их объятие страшно и упоительно; они знают тайну неповторимых ласк, которые погружают дочерей человеческих в бездны сладострастия. Вливая в уста своих счастливых жертв пылающий мед, заставляя течь по их жилам неиссякаемый освежающий пламень, они оставляют их в полном изнеможении и восторге.

— Да перестань ты, грязное животное! — вскричал раненый.

— Еще одно слово, — сказал ангел, — только одно слово, милый Морис, в мое оправдание, и потом ты можешь спокойно отдыхать. Точные ссылки — самая убедительная вещь. Дабы увериться в том, что я тебя не обманываю, Морис, прочти о любовной близости между ангелами и женщинами в следующих трудах: Иустин, «Апологии», I и II; Иосиф Флавий, «Иудейская археология», книга I, глава III; Афинагор, «О воскресении мертвых»; Лактанций, книга II, глава XV; Тертуллиан, «О покрывале девственниц»; Марк Эфесский, «Пселла»; Евсевий, «Евангельские назидания», книга V, глава IV; святой Амвросий, в книге «О Ное и ковчеге», глава V; блаженный Августин, «Град божий», книга XV, глава XXIII; отец Мельдонат, иезуит, «Трактат о демонах», страница 218; Пьер Лебье, королевский советник...

— Да замолчи ты, Аркадий, сжался! Замолчи! Замолчи. И прогони эту собаку, — вскричал Морис. Лицо его побагровело глаза вылезали из орбит, в бреду ему показалось, что у него на кровати сидит черный пудель.

Г-жа де ла Вердельер, занимавшаяся всеми модными делами, как светскими, так и патриотическими, слыла одной из самых очаровательных сиделок французского высшего общества. Она заехала узнать о здоровье Мориса и предложила сама ухаживать за больным. Но, подчиняясь решительному запрещению г-жи дез'Обель, Аркадий захлопнул перед ее носом дверь. Мориса засыпали выражениями сочувствия. Груда наваленных на поднос визитных карточек красовалась перед ним бессчетными загнутыми уголками. Одним из первых явился на улицу Рима засвидетельствовать свою мужскую симпатию г-н Ле Трюк де Рюфбек. Протянув молодому д'Эпарвье свою благородную руку, он попросил у него, как человек чести у человека чести, двадцать пять луидоров, чтобы заплатить долг чести.

— Черт возьми, дорогой Морис, о такой услуге, не всякого попросишь!

В тот же день г-н Гаэтан зашел навестить племянника. Тот представил ему Аркадия.

— Это мой ангел-хранитель, дядя. Вам очень понравилась форма его ступни, когда вы увидели следы его шагов на предательском порошке. Он явился мне в прошлом году здесь, в этой самой комнате... Не верите?... А ведь это чистая правда!

И он обернулся к небесному духу:

— Как это тебе понравится, Аркадий? Аббат Патуйль, великий богослов и хороший священник, не верит, что ты ангел, и дядя Гаэтан, который не знает катехизиса и не признает религии, тоже этому не верит. Оба они тебя отрицают: один — потому что он верующий, другой — потому что у него нет веры. На этом основании можно с полной уверенностью утверждать, что твоя история кому угодно покажется неправдоподобной. И вдобавок того, кто вздумал бы ее рассказывать, сочли бы человеком без вкуса и никак не одобрили бы. Потому что, говоря по правде, это довольно некрасивая история. Я тебя люблю, но сужу вполне трезво. С тех пор как ты впал в безбожие, ты превратился в ужасного негодяя. Плохой ангел, плохой друг, предатель, убийца. Я думаю, что во время дуэли ты сам выпустил мне под ноги черного пуделя, чтобы меня прикончить.

Ангел пожал плечами и сказал, обращаясь к Гаэтану:

— Увы, сударь, я не удивляюсь тому, что вы так недоверчиво ко мне относитесь: я слышал, что вы не в ладах с иудео-христианским небом, откуда я родом.

— Я недостаточно верю в Иегову, — ответил Гаэтан, — чтобы верить в его ангелов.

— Тот, кого вы называете Иеговой, на самом деле всего-навсего невежественный и грубый демиург по имени Иалдаваоф.

— В таком случае, я готов в него уверовать. Раз он невежественен и ограничен, я легко могу допустить его существование. Как он поживает?

— Плохо! В будущем месяце мы его свергнем.

— Не обольщайтесь надеждой. Вы напоминаете мне моего шурина Кюиссара, который в течение тридцати лет каждое утро ожидает падения республики...

— Вот видишь, Аркадий, — вскричал Морис. — Дядя Гаэтан со мной согласен. Он знает, что ты потерпишь неудачу.

— А почему, скажите на милость, господин Гаэтан, вы думаете, что меня идет неудача?

— Ваш Иалдаваоф еще очень силен в этом мире, если не в том. В былые времена его поддерживали священнослужители, — те, что верили в него. А в наше время он опирается на тех, кто не верит в него, на философов. Не так давно нашелся тупой педант, по имени Пикроколь, который пытался доказать банкротство науки, чтобы улучшить дела церкви. И в наши дни выдумали прагматизм специально для того, чтобы поднять авторитет религии среди людей, любящих рассуждать.

— Вы изучали прагматизм?

— И не подумал! В молодости я отличался легкомыслием и занимался метафизикой. Читал Гегеля и Канта. Но с возрастом я стал серьезнее, и меня занимает теперь только то, что поддается чувственному восприятию, что доступно зрению или слуху. Вся сущность человека — в искусстве. Остальное пустые мечтания.

В том же духе разговор продолжался до вечера, и при этом говорились такие непристойности, которые могли бы заставить покраснеть не то что кирасира — это пустяки, ибо кирасиры часто отличаются целомудрием, — но даже парижанку.

Навестил своего бывшего ученика и г-н Сарьетт. Когда библиотекарь появился в комнате, бюст Александра д'Эпарвьё возник над его лысым черепом. Сарьетт подошел к кровати. Вместо голубых занавесок, зеркального шкафа, камина комнату тотчас же заполнили набитые книгами шкафы из залы Сфер и Бюстов, а воздух стал душным от карточек, каталогов и папок. Г-н Сарьетт был настолько неотделим от своей библиотеки, что его невозможно было ни представить себе, ни увидеть вне ее. И сам он, пожалуй, был более бледен, неясен, расплывчат и воображаем, чем образы, возникавшие при виде его. Морис, который очень подобрел, был растроган этим проявлением дружбы.

— Садитесь, господин Сарьетт, с госпожой дез'Обель вы знакомы. Разрешите представить вам Аркадия, моего ангела-хранителя. Это он, будучи незримым, в течение двух лет опустошал вашу библиотеку, лишил вас аппетита и чуть не свел с ума. Это он перетащил из залы Сфер в мой павильон целую кучу старых книг. Однажды он унес у вас из-под носа какую-то ценную книжицу, и вы по его вине упали на лестнице. А в другой раз он взял у вас брошюру Соломона Рейнака, и, так как ему пришлось выйти из дому вместе со мной (я узнал потом, что он не покидал меня ни на мгновение), он уронил ее в канаву на улице Принцессы. Вы уж простите его, господин Сарьетт, карманов у него не было. Он был невидим. Я горько сожалею, господин Сарьетт, что все ваши книжонки не были уничтожены пожаром или наводнением. Из-за них мой ангел потерял голову, превратился в человека, утратил веру и совесть. Теперь я стал его ангелом-хранителем. Один бог знает, чем все это кончится.

Г-н Сарьетт слушал эти речи, и лицо его выражало безграничную скорбь, безысходную, вечную скорбь мумии. Поднявшись, чтобы проститься, огорченный библиотекарь шепнул на ухо Аркадию:

— Бедный мальчик очень плох... Он бредит.

Морис снова подозвал старика:

— Оставайтесь, господин Сарьетт. Сыграйте с нами в бридж. Господин Сарьетт, послушайте моего совета. Не поступайте, как я, не бывайте в дурной компании. Это вас погубит. Не уходите, господин Сарьетт, у меня к вам большая просьба: когда вы опять ко мне придете, захватите с собой какую-нибудь книжку об истинности религии, я хочу проштудировать ее. Я должен вернуть своему ангелу веру, которую он утратил.

ГЛАВА XXXI,

из которой мы с изумлением узнаем, как легко человек честный, робкий и кроткий может совершить ужасное преступление

Глубоко расстроенный непонятными речами юного Мориса, г-н Сарьетт сел в автобус

и поехал к папаше Гинардону, своему другу, своему единственному другу, единственному в мире человеку, которого ему приятно было видеть и слышать. Когда г-н Сарьетт вошел в лавку на улице Курсель, Гинардон был совсем один и дремал в глубоком старинном кресле. У него были вьющиеся волосы, пышная борода и багровое лицо; лиловые прожилки, испещрили крылья его носа, покрасневшего от бургундского вина. Ибо — теперь уже этого нельзя было скрыть-папаша Гинардон пил. В двух шагах от него, на рабочем столике юной Октавии, засыхала роза в пустом стакане, а в корзинке валялось недоконченное вышивание. Юная Октавия все чаще и чаще уходила из магазина, а г-н Бланмениль никогда не появлялся там, когда ее не было. Это имело свою причину: три раза в неделю в пять часов они встречались в доме свиданий у Елисейских полей. Папаша Гинардон ничего об этом не знал. Он не подозревал, как велико постигшее его несчастье, но все же страдал от него.

Г-н Сарьетт пожал руку старому другу и не спросил его, как поживает юная Октавия, ибо не признавал тех уз, которые их соединяли. Он охотно поговорил бы о безжалостно брошенной Зефирине, потому что ему хотелось, чтобы старик сделал ее своей законной супругой. Но г-н Сарьетт был осторожен и удовольствовался тем, что спросил у Гинардона, как он поживает.

— Отлично, — заявил Гинардон, который чувствовал себя больным, но прикидывался сильным и здоровым с тех пор, как сила и здоровье покидали его, — Я, славу богу, сохранил крепость тела и духа. Я живу целомудренно. Будь целомудрен, Сарьетт. Целомудрие дает силу.

В этот вечер папаша Гинардон извлек из комода фиалкового дерева несколько ценных книг, чтобы показать их известному библиофилу, г-ну Виктору Мейеру, а после того как этот клиент удалился, он заснул и не успел уложить их обратно. Г-н Сарьетт, которого книги всегда притягивали, увидел эти экземпляры на мраморной доске комода и стал с любопытством рассматривать их. Первая книга, которую он перелистал, была «Орлеанская девственница» в сафьяновом переплете с английскими гравюрами. Конечно, его сердцу француза и христианина претило видеть этот текст и рисунки, но хорошая книга всегда казалась ему целомудренной и чистой. Продолжая вести с Гинардоном задушевную беседу, он одну за другой брал в руки книги, которые антиквар ценил за переплет, за эстампы, за происхождение или редкость; вдруг он испустил восторженный крик радости и любви. Он нашел «Лукреция» приора Вандомского, своего «Лукреция», и теперь прижимал его к сердцу.

— Наконец-то я нашел его, — вздыхал он, поднося книгу к губам.

Папаша Гинардон сперва не понял, что хочет сказать его старый друг. Но когда тот заявил, что книга эта из библиотеки д'Эпарвье, что она принадлежит ему, Сарьетту, что он заберет ее без всяких разговоров, антиквар, окончательно пробудившись, поднялся и твердо заявил, что книга эта его, Гинардона, собственность, что он купил ее самым законным образом и не отдаст иначе, как за пять тысяч франков — ни больше, ни меньше.

— Да вы не поняли, что я вам говорю, — ответил Сарьетт. — Эта книга из библиотеки д'Эпарвье. Я должен возвратить ее туда.

— Ну, нет, дружок...

— Это моя книга.

— Вы сошли с ума, милый Сарьетт!

Заметив, что у библиотекаря действительно какой-то безумный вид, он взял у него из рук книгу и попытался переменить разговор.

— Вы обратили внимание, Сарьетт, что эти свиньи собираются распотрошить дворец Мазарини и покрыть невесть какими произведениями искусства остров Сите, самое величественное, самое красивое место в Париже. Да они хуже вандалов, потому что вандалы уничтожали памятники древности, но не заменяли их омерзительными строениями и мостами дурного стиля вроде моста Александра III. И ваша бедная улица Гарансьер тоже стала добычей варваров. Что они сделали с красивым бронзовым маскаронном на дворцовом фонтане?

Но Сарьетт ничего не слушал.

— Гинардон, вы меня не поняли. Послушайте. Эта книга из библиотеки д'Эпарвье. Она оттуда похищена. Как? Кем? Не имею понятия. В этой библиотеке произошли необъяснимые и страшные события. Словом, книгу украли. Мне незачем взывать к вашей безупречной честности, мой дорогой друг. Вы не захотите прослыть укрывателем краденого. Отдайте мне книгу. Я верну ее господину д'Эпарвье, который возместит вам ее стоимость, можете в этом не сомневаться. Доверьтесь, его щедрости, и вы поступите со свойственным вам благородством.

Антиквар горько улыбнулся.

— Чтобы я доверился щедрости этого старого скряги д'Эпарвье, который даже с блохи способен содрать шкуру? Поглядите на меня, милый Сарьетт, и скажите, похож ли я на простака? Вы отлично знаете, что д'Эпарвье не пожелал заплатить пятьдесят франков старьевщику за портрет Александра д'Эпарвье, своего великого предка, работы Эрсана, и великий предок так и остался на бульваре Монпарнас против кладбища, у входа в лавку торговца-еврея, где все собаки на него мочатся... Доверьтесь щедрости господина д'Эпарвье! Как бы не так!

— Хорошо, Гинардон, и таком случае я сам возьму вам ту сумму, которую установят специалисты. Вы слышите?

— Да бросьте вы разыгрывать благородство с такими неблагодарными людьми, дорогой мой Сарьетт. Этот д'Эпарвье высосал из вас все знание, всю энергию, всю вашу жизнь за жалованье, от которого отказался бы лакей. Оставьте вы это... К тому же вы опоздали. Книга уже продана...

— Продана?.. Кому? — спросил Сарьетт в ужасе.

— Да не все ли вам равно? Вы ее больше не увидите и ничего о ней не услышите. Она поедет в Америку.

— В Америку? «Лукреций» с гербом Филиппа Вандомского, с собственноручными пометками Вольтера! Мой «Лукреций»! В Америку!

Папаша Гинардон расхохотался.

— Милый Сарьетт, вы мне напоминаете кавалера де Грие в тот момент, когда он узнает, что его возлюбленную отправят на Миссисипи. «Мою возлюбленную на Миссисипи?!»

— Нет, — произнес побледневший Сарьетт, — нет, эта книга не уедет в Америку. Она вернется, как должно, в библиотеку д'Эпарвье. Отдайте мне ее, Гинардон!

Антиквар сделал еще раз попытку оборвать разговор который угрожал плохо кончиться.

— Дорогой Сарьетт, вы еще ничего не сказали о моем Греко. Вы на него даже не взглянули. А ведь он просто замечателен. И Гинардон повернул картину так, чтобы на нее падал свет.

— Взгляните на этого святого Франциска, нищего во Христе, брата Иисусова. Его черное тело поднимается к небу, как дым угодный богу жертвы, как жертва Авеля...

— Книгу, Гинардон! — сказал Сарьетт, даже не повернув головы. — Отдайте мне книгу!

Кровь бросилась в голову папаше Гинардону. Лицо его побагровело, жилы на лбу вздулись.

— Хватит об этом! — сказал он.

И спрятал «Лукреция» в карман пиджака.

Тут Сарьетт бросился на антиквара, толкнул его с неожиданной яростью и, несмотря на свою тщедушность, опрокинул крепкого старика в кресло юной Октавии.

Ошеломленный и взбешенный, Гинардон осыпал старого маньяка ужасающей руганью и ударом кулака отбросил его на четыре шага, прямо на «Венчание пресвятой девы», произведение Фра Анджелико, которое повалилось с грохотом. Сарьетт снова кинулся на старика, пытаясь вытащить книгу у него из кармана. На этот раз папаша Гинардон пришиб

бы его на месте, но, ничего не видя перед собой от ярости, угодил кулаком мимо, в стоявший рядом рабочий столик Октавии. Сарьетт вцепился в своего изумленного противника, вдавил его в кресло и своими маленькими иссохшими руками стиснул ему шею, которая из красной стала темно-багровой. Гинардон силился освободиться, но худенькие пальцы Сарьетта, почувствовав мягкое и теплое тело, с каким-то наслаждением опивались в него. Неведомая сила словно приковала их к добыче. Гинардон хрипел, слюна текла из уголка его рта. Его огромное тело прерывисто вздрагивало в этих страшных объятиях. Но движения становились все судорожнее и реже. Наконец они прекратились. А руки, совершившие убийство, не разжимались. Сарьетту пришлось сделать огромное усилие, чтобы их отнять. В висках у него стучало. И все же он слышал шум дождя, приглушенные шаги на тротуаре, отдаленные крики газетчиков, видел двигавшиеся в полумраке зонтики. Он вынул книгу из кармана мертвеца и убежал.

В тот вечер юная Октавия не вернулась в лавку. Она провела ночь в маленькой комнате на антресолях другой антикварной лавки, только что купленной для нее г-ном Бланменилем на той же улице Курсель. Сторож, который должен был закрывать магазин, обнаружил еще не остывшее тело антиквара. Он позвал консьержку г-жу Ленэн, которая уложила Гинардона на диван, зажгла две свечи, сунула веточку букса в блюдо со святой водой и закрыла умершему глаза. Врач, которого позвали, констатировав смерть, приписал ее удару.

Зефирина, извещенная г-жой Ленэн, тотчас же прибежала и провела ночь возле покойника. Казалось, что он спит. При дрожащем свете двух свечей Франциск на картине Греко поднимался к небу, как дым. Золото примитивов поблескивало в темноте. У смертного ложа ясно выделялся рисунок Бодуэна женщина, принимающая лекарство. Всю ночь за пятьдесят шагов от лавки слышны были причитания Зефирины. Она твердила:

— Он умер, он умер, мой друг, божество мое, любовь моя, жизнь моя!.. Нет, он не умер, он шевелится. Мишель, это я, твоя Зефирина: проснись, услышь меня. Ответь же мне: я люблю тебя. Прости мне, если я тебя огорчала... Умер! Умер! О боже мой, поглядите, какой он красивый. Он был такой добрый, милый, умный! Боже мой, боже мой, боже мой! Если бы я была с ним, он бы не умер. Мишель! Мишель!

К утру она затихла. Думали, что она задремала, но она была мертва.

ГЛАВА XXXII, где мы услышим в кабачке Хлодомира флейту Нектария.

Г-же де ла Вердельер не удалось ворваться к Морису в качестве сиделки, тогда она явилась через несколько дней в отсутствие г-жи дез'Обель, получить у него лепту на сохранение французских церквей. Аркадий провел ее к постели выздоравливающего.

Морис шепнул ангелу на ухо:

— Предатель, немедленно же избавь меня от этой людоедки, или на тебя падет ответственность за все беды, которые здесь неминуемо произойдут.

— Не беспокойся, — уверенно ответил Аркадий. После обычных приветствий г-жа де ла Вердельер знаками попросила Мориса удалить ангела. Морис представился, будто не понимает ее. Тогда г-жа де ла Вердельер изложила официальную причину своего визита:

— Наши церкви, наши милые деревенские церкви, что с ними будет?

Аркадий взглянул на нее с ангельским видом, горестно вздыхая.

— Они разрушатся, сударыня, они превратятся в развалины. Какая жалость! Я буду просто в отчаянии. Ведь церковь посреди деревенских домов — все равно что наседка среди цыплят.

— Ах, как это верно! — сказала г-жа де ла Вердельер с восхищенной улыбкой. — Это именно так!

— А колокольни, сударыня!

— Да, да, колокольни!

— Колокольни, сударыня, вздымаются к небу, как гигантские клистирные трубки к

голым задам херувимов.

Г-жа де ла Вердельер немедленно удалилась.

В тот же день аббат Патуйль принес раненому свои наставления и утешения. Он убеждал Мориса прекратить дурные знакомства и помириться с семьей. Он нарисовал ему заплаканную мать, готовую с распростертыми объятиями принять вновь обретенного сына. Мужественным усилием воли отвергнув жизнь беспутную, полную обманчивых наслаждений, Морис обрел бы душевный мир, утраченную силу духа, освободился бы от пагубных мечтаний, от козней лукавого.

Молодой д'Эпарвье поблагодарил аббата Патуйля за его доброту и заверил в истинности своих религиозных чувств.

— Никогда еще, — сказал он, — у меня не было такой твердой веры, и никогда я так не нуждался в ней. Представьте себе, господин аббат, мне приходится вновь обучать катехизису моего ангела-хранителя. Представьте, он забыл катехизис!..

Аббат Патуйль сокрушенно вздохнул и стал убеждать свое дорогое дитя молиться, ибо молитва — единственная помощь против опасностей, грозящих душе, которую искушает дьявол...

— Господин аббат, — спросил Морис, — хотите, я познакомлю вас с моим ангелом-хранителем? Подождите минутку, он пошел за папиросами.

— Бедное дитя!

И круглые щеки аббата Патуйля опустились в знак скорби. Но почти тотчас же они снова поднялись, как свидетельство радости. Ибо многое радовало сердце аббата Патуйля.

Общественное настроение явно улучшалось. Якобинцев, франкмасонов и блокистов поносили повсеместно. Пример подавало избранное общество. Французская академия стала вполне благомыслящей. Христианские школы множились. Молодежь Латинского квартала склонялась перед церковью, а от Нормальной школы шел семинарский дух. Крест торжествовал повсюду. Но нужны были деньги, еще деньги и всегда деньги.

После полуторамесячного постельного режима Морис д'Эпарвье получил от врача разрешение совершить прогулку в экипаже. Рука у него была на перевязи. Возлюбленная и друг сопровождали его. Они отправились в Булонский лес и с тихой радостью созерцали траву и деревья. Они улыбались всему, и им все улыбалось. Как сказал Аркадий, от совершенных ими ошибок они стали лучше. Ревность и гнев Мориса самым неожиданным образом привели к тому, что к нему вернулось спокойствие и благодушие. Он еще любил Жильберту, но любовью снисходительной. Ангел желал эту женщину по-прежнему, но после обладания вожделение его утратило жало любопытства. Жильберта отдыхала от стремления нравиться, и от этого нравилась еще больше. У каскада они напились молока, показавшегося им восхитительным. Все трое обрели невинность. И Аркадий позабыл несправедливости старого тирана, царящего над миром. Но вскоре ему о них напомнили.

Возвратись на квартиру своего друга, он застал там Зиту, которая поджидала его, подобная статуе из слоновой кости и золота.

— Мне вас просто жаль, — сказала она. — Близится день, какого еще не было с начала времен и который, может быть, не повторится раньше, чем солнце со своими спутниками не вступит в созвездие Геркулеса. Не сегодня-завтра мы обрушимся на Иалдаваофа в его порфириновом дворце, а вы, горевший желанием освободить небеса и победителем возвратиться на освобожденную родину, вы забываете все свои великодушные намерения и дремлете в объятиях дочерей человеческих. Какое удовольствие получаете вы от общения с этими нечистоплотными зверьками, созданными из таких неустойчивых элементов, что, кажется, они непрерывно распадаются? Ах, Аркадий, я была права, не доверяя вам. Вы типичный интеллигент, в вас говорит одно лишь любопытство. Вы не способны действовать.

— Вы неправильно судите обо мне, Зита, — ответил ангел. — Любовь к дочерям человеческим заложена в природе сынов неба. Конечно, телесная субстанция женщин и цветов тленна, тем не менее она чарует чувства. Но ни один из этих зверьков не заставит меня забыть мою ненависть и мою любовь, и я готов выступить против Иалдаваофа.

Зита, вполне удовлетворенная его решимостью, потребовала, чтобы он неуклонно продолжал готовить их грандиозное предприятие; спешить не надо, но и откладывать не следует:

— Большое дело, Аркадий, состоит из множества мелких. Самое величественное целое складывается из тысячи ничтожных частиц. Не будем пренебрегать ничем.

Она пришла за ним, чтобы вместе отправиться на собрание, где его присутствие необходимо. Там будут подсчитаны силы восставших.

Она добавила только одно:

— Нектарий тоже придет.

Когда Морис увидел Зиту, он нашел ее непривлекательной. Она не понравилась ему, потому что красота ее была совершенной, а подлинная красота всегда вызывала в нем какое-то тягостное удивление. Узнав, что она тоже восставший ангел и собирается вести Аркадия к заговорщикам, он почувствовал к Зите неприязнь. Бедный юноша пытался удержать своего товарища всеми способами, какие подсказывали ему ум и обстоятельства. Он умолял своего ангела-хранителя остаться с ним, обещал за это повести его на замечательное состязание боксеров, на обозрение, где они увидят апофеоз Пуанкаре, наконец, в одно место, где имеются женщины, необычайные по красоте, таланту, порокам или уродству. Но ангел не поддавался никаким искушениям и заявил, что уходит с Зитой.

— Зачем?

— Чтобы подготовить завоевание неба.

— Опять это безумие! Завоевание не... Но ведь я же доказал тебе, что это и невозможно и нежелательно.

— До свидания, Морис...

— Ты все-таки идешь? Ну, что ж, тогда и я пойду с тобой. И Морис, с рукой на перевязи, последовал, за Аркадием и Зитой в кабачок Хлодомира, где стол был накрыт в саду, под навесом из зелени.

Там уже находились князь Истар и Теофиль, а с ними маленькая желтая фигурка похожая на ребенка: это был ангел из Японии.

— Мы ждем только Нектария, — сказала Зита.

В эту минуту бесшумно появился старый садовник. Он сел, и собака легла у его ног. Французская кухня — первая в мире. Ее слава затмит всякую другую, когда человечество, сделавшись мудрым, поставит вертел выше шпаги. Хлодомир подал ангелам и смертному, который был с ними, жирную похлебку, свиное филе и почки в мадере, доказавшие, что этот монмартрский повар еще не развращен американцами, которые портят лучших поваров Города-гостиницы.

Хлодомир откупорил бутылку бордо, и хотя оно и не значилось среди лучших вин Медока, но ароматичностью и букетом выдавало свое благородное происхождение. Следует отметить, что после этого вина и многих других хозяин погребка торжественно принес романею, крепкую и вместе с тем легкую, пряную и нежную, настоящей бургундской закваски, огненную и хмельную, истинную усладу для ума и чувств. Старый Нектарий поднял стакан и произнес:

— Тебе, Дионис, величайший из богов, кто вместе с золотым веком вернет смертным, ставшим героями, гроздь, которые Лесбос срывал некогда с кустов в Мефимне, и лозы Фасоса, и белый виноград озера Мареотидского, и погреба Фалерно, и виноградники Тмола, и короля вин — Фанею. И сок этих гроздий будет божественным, и, как во времена древнего Силены, люди будут опьяняться мудростью и любовью.

Когда подали кофе, Зита, князь Истар, Аркадий и японский ангел, сделали поочередно сообщения о состоянии сил, собранных против Иалдаваофа.

Отрешаясь от вечного блаженства для страданий земного бытия, ангелы развиваются умственно и приобретают способность ошибаться и впадать в противоречия. Поэтому и собрания их, подобно человеческим, бывают беспорядочными и шумными. Не успевал один из заговорщиков назвать какую-нибудь цифру, как другой тотчас же опровергал ее. Они не

могли сложить двух чисел без спора, и даже сама арифметика заражалась страстностью и утрачивала свою точность. Керуб, насильно притащивший благочестивого Теофиля, возмутился, услышав, как музыкант славит господя, и надавал ему по голове тумачков, которыми можно было бы свалить быка. Но у музыкантов головы покрепче бычьих. И удары, сыпавшиеся на Теофиля, не изменяли представления этого ангела о божественном провидении. Аркадий долго противопоставлял свой научный идеализм прагматизму Зиты, и прекрасный архангел заявил ему, что он рассуждает неверно.

— Вы еще удивляетесь! — воскликнул ангел-хранитель юного Мориса. — Я, как и вы, рассуждаю на человеческом языке. А что такое человеческий язык, как не крик лесного или горного зверя, только усложненный и испорченный возгордившимися приматами? Разве можно, о Зита, построить правильное рассуждение, применяя этот набор гневных или жалобных звуков? Ангелы вообще не рассуждают. Люди, стоящие выше ангелов, рассуждают плохо. Я уже не говорю о профессорах, которые надеются определить абсолют при помощи криков, унаследованных ими от человекообразных обезьян, двуутробок и пресмыкающихся — их предков. Это величайший фарс! Как бы забавлялся этим демиург, если бы у него было достаточно ума!

В ночном небе сверкали крупные звезды. Садовник молчал.

— Нектарий, — сказал прекрасный, архангел, — сыграйте на флейте, если не боитесь взволновать небо и землю.

Нектарий взял флейту. Юный Морис зажег папиросу. Пламя, вспыхнув, погрузило во мрак небо и звезды, а затем погасло. И Нектарий воспел это пламя на своей вдохновенной флейте. Ее серебряный голос говорил:

«Это пламя есть вселенная, осуществившая свое назначение, менее чем в минуту. В ней возникли солнца и планеты. Венера Урания измерила орбиты тел, блуждающих в ее бесконечных пространствах. От дыхания Эроса, перворожденного из богов, родились растения, животные, мысли. В течение двадцати секунд, протекших между возникновением и смертью этого мира, развились цивилизации, и империи пережили долгий период своего упадка. Плакали матери и к безмолвным небесам поднимались песни любви, вопли ненависти и стоны жертв. В малых своих размерах этот мир жил столько же, сколько жил и проживет тот, другой мир, несколько атомов которого сияют у нас над головой. И тот и другой — лишь искры света в бесконечности».

И по мере того как в зачарованном воздухе разносились чистые и светлые звуки, земля превращалась в зыбкую туманность, а звезды описывали все более быстрые круги. Большая Медведица распалась, и части ее тела рассыпались в разные стороны. Пояс Ориона разорвался. Полярная звезда покинула свою магнитную ось. Сириус, сиявший па горизонте раскаленным светом, поголубел, покраснел, замерцал и потух в одно мгновение. Созвездия задвигались, образовали новые знаки, которые, в свою очередь, исчезли. Волшебными своими звуками магическая флейта заключила в одном мгновении всю жизнь и все движения этого мира, неизменного и вечного в представлении людей и ангелов. Она замолкла, и небо приняло свое древнее обличье. Нектарий исчез. Хлодомир спросил у своих гостей, довольны ли они похлебкой, которую сутки держали на огне, чтобы она уварилась, и похвастал божолезским вином, которое они пили.

Ночь была теплая. Аркадий в сопровождении своего ангела-хранителя, Теофиль, князь Истар и японский ангел проводили Зиту до ее дома.

ГЛАВА XXXIII, о том, как чудовищное злодеяние повергло в ужас весь Париж

Весь город спал. Шаги гулко звучали на опустелых тротуарах. Дойдя до середины монмартрского холма, ангелы и их спутник остановились на углу улицы Фэтрие, у дверей дома, где жил прекрасный архангел. Аркадий обсуждал вопрос о Престолах и Господствах с Зитой, которая уже держала палец на кнопке звонка, но все еще медлила звонить. Князь

Истар концом трости рисовал на тротуаре чертежи новых снарядов и по временам издавал мычание, от которого просыпались спящие обыватели и трепетали чресла живших по соседству Пасифай, Теофиль Белэ во весь голос распевал баркаролу из второго действия «Алины, королевы Голконды». Морис, у которого правая рука была на перевязи, пытался левой фехтовать с японским ангелом и выбивал искры из мостовой, пронзительным голосом выкрикивая: «Задет!»

Между тем на углу соседней улицы стоял, погруженный в свои думы, бригадир Гроллер. Он был сложен точно римский легионер и обладал всеми чертами, свойственными этой величаво-раболепной породе, которая, с тех пор как человечество начало строить города, охраняет государство и поддерживает династии. Бригадир Гроллер был полон сил, но вместе с тем очень утомлен. Он был изнурен тяжелой службой и скудной пищей. Человек долга, но все же только человек, он не мог устоять перед чарами, соблазнами и прелестями девиц легкого поведения, которые целыми стаями встречались ему во мраке безлюдных бульваров, у пустырей. Он их любил. Он любил их, как солдат, не покидая своего поста, и от этого испытывал утомление, превосходившее его стойкость. Еще не достигнув середины странствия земного, он уже мечтал о сладостном отдыхе и мирном сельском труде. Стоя этой тихой ночью на углу улицы Мюллер, он думал — думал о родном доме, об оливковой рощице, об отцовской усадьбе, о согнувшейся под бременем долгой тяжелой работы старухе-матери, с которой ему уже не придется свидеться. Пробужденный от своих грез ночным шумом, бригадир Гроллер подошел к перекрестку улиц Мюллер и Фэтрие и стал неодобрительно наблюдать за кучкой праздношатающихся, в которой его социальный инстинкт почуял врагов порядка. Бригадир Гроллер был терпелив и решителен. После длительного молчания он с грозным спокойствием молвил:

— Проходите.

Но Морис и японский ангел продолжали фехтовать и ничего не слышали. Музыкант внимал только своим собственным мелодиям, князь Истар был весь погружен в формулы взрывчатых веществ, Зита обсуждала с Аркадием величайшее предприятие, какое только было задумано, с тех пор как солнечная система сформировалась из первобытной туманности, и все они не замечали окружающего.

— Сказано вам — проходите, — повторил бригадир Гроллер.

На этот раз ангелы расслышали торжественное приказание, но, то ли из равнодушия, то ли из презрения, они не подчинились и продолжали кричать, петь и разговаривать.

— Так вы хотите, чтобы я вас забрал! — возопил бригадир Гроллер и опустил свою широкую руку на плечо князя Истара.

Керуб, возмущенный прикосновением столь низменного существа, мощным ударом кулака отшвырнул бригадира в канаву. Но полицейский Фэзанде уже мчался на помощь своему начальнику, и оба они набросились на князя. Они колотили его с яростью автоматов и, может быть, несмотря на силу и вес керуба, потащили бы его, окровавленного, в участок, если бы японский ангел без всякого усилия не сбил их обоих с ног, так что они, уже рыча и корчась, покатались в грязь, прежде чем Аркадий и Зита успели вмешаться.

Что касается ангела-музыканта, то он от страха дрожал в сторонке, вызывая к небесам.

В эту минуту два булочника, которые месили тесто в соседнем подвале, выбежали на шум, голые по пояс, в белых фартуках. Повинуясь инстинкту общественной солидарности они стали на сторону поверженных полицейских. При виде их Теофиль, охваченный вполне естественным ужасом, обратился в бегство. Но они поймали его и уже намеревались передать в руки блюстителей порядка, когда Аркадий и Зита вырвали его у них. Завязалась неравная и жестокая борьба между двумя ангелами и двумя пекарями. По красоте и силе подобный лисипповскому атлету, Аркадий сдавил в своих объятиях тучного противника. Прекрасный архангел кинжалом ударил булочника, пытавшегося ее схватить. Черная кровь потекла по волосатой груди, и оба пекаря, защитники порядка, подвалились на мостовую.

Полицейский Фэзандо без сознания лежал ничком в канаве. Но бригадир Гроллер поднялся, дал свисток, который должны были услышать ближайшие постовые, и ринулся на

юного Мориса; тот, имея возможность обороняться только одной рукой, левой разрядил свой револьвер прямо в агента, который схватился за сердце, пошатнулся и рухнул на землю. Он испустил долгий вздох, и вечная тьма застлала его взор.

Между тем окна открывались одно за другим, и из них высовывались головы. Приближались тяжелые шаги. Два полицейских на велосипедах мчались по улице Фэтрие. Тогда князь Истар бросил бомбу, от которой сотряслась земля, потухли газовые фонари и разрушилось несколько домов. Густая завеса дыма скрыла бегство ангелов и юного Мориса.

Аркадий и Морис решили, что после подобного приключения безопаснее всего в конце концов будет укрыться в квартире на улице Рима. Несомненно, сразу их не разыщут, а возможно, и вообще не сумеют разыскать, так как бомба керуба, по счастью, уничтожила всех свидетелей происшествия. Они заснули на рассвете и спали еще в десять часов утра, когда швейцар принес им чай. Хрустя гренками с маслом, молодой д'Эпарвье сказал своему ангелу:

— Я думал, что преступление — это нечто необычайное. Оказывается, я ошибался. Это — самое простое, самое естественное дело.

— И самое традиционное, — добавил ангел. — В течение многих веков для человека самым обычным и необходимым делом было грабить и убивать других людей. На войне это предписывается и поныне. При некоторых определенных обстоятельствах покушаться на человеческую жизнь считается даже почтенным, и вы заслужили всеобщее одобрение, Морис, когда хотели меня убить, потому что вам показалось, будто я позволил себе некоторые вольности в отношении вашей любовницы. Но убить полицейского неприлично для человека из общества.

— Замолчи, — вскричал Морис, — замолчи, негодяй! Я убил этого бедного бригадира без всякого умысла, не зная даже, что делаю. Я сам теперь в отчаянии. Но истинный виновник и убийца не я, а ты. Ты увлек меня на этот путь мятежа и насилия, который ведет в адскую бездну. Ты погубил меня, ты принес в жертву своей гордыне и злобе мой покой и счастье. И совершенно напрасно. Ибо, предупреждаю тебя, Аркадий, из вашей затеи ничего не получится.

Швейцар принес газеты. Заглянув в них, Морис побледнел. Крупными буквами сообщалось там о злодеянии на улице Фэтрие. Убиты: полицейский бригадир и два агента-велосипедиста. Тяжело ранены два подмастерья из булочной. Разрушены два жилых дома, имеется большое количество жертв.

Морис выронил газету и произнес слабым, жалобным голосом:

— Аркадий, почему ты не убил меня в маленьком версальском Садике, где цвели розы и свистел дрозд?

Между тем Париж был объят ужасом. На площадях и людных улицах хозяйки с сумкой для провизии в руках слушали, бледнея, рассказ о совершенном преступлении и призывали на головы виновных самые жестокие кары. Торговцы на порогах своих лавок обвиняли в этом злодеянии анархистов, синдикалистов, социалистов, радикалов и взывали к закону. Люди глубокомысленные полагали, что это — дело рук евреев и немцев, и настаивали на изгнании всех иностранцев. Кое-кто расхваливал американские обычаи и упоминал о линчевании. К газетным новостям прибавлялись зловещие слухи. Во множестве мест слышали взрывы, то здесь то там находили бомбы. Повсюду гнев толпы обрушивался на разных лиц, которых принимали за злоумышленников и в растерзанном виде передавали правосудию. На площади Республики толпа разорвала на части пьяницу, кричавшего: «Долой шпииков!»

Председатель совета министров, он же министр юстиции, долго совещался с префектом полиции, и они решили, в целях успокоения возбужденных парижан, немедленно арестовать пять или шесть апашей из числа тридцати тысяч, обитавших в столице. Начальник русской полиции, признав в совершенном злодеянии метод нигилистов, попросил о выдаче его правительству дюжины политических эмигрантов, что и было немедленно выполнено. Равным образом еще несколько лиц было изъято ради безопасности испанского короля.

Узнав об этих энергичных мероприятиях, Париж облегченно вздохнул, и вечерние газеты выразили одобрение правительству. Сведения о состоянии здоровья раненых были превосходные. Они были вне опасности и опознавали напавших на них преступников во всех, кого бы к ним не приводили.

Правда, бригадир Гролле умер, но две монахини — сестры милосердия дежурили у его тела, и сам председатель совета министров явился возложить крест Почетного легиона на грудь этой жертвы долга.

Ночью поднялся переполох. На проспекте Восстания полицейские заметили на пустыре фургон фокусников, показавшийся им притоном бандитов. Они вызвали подкрепление и, когда их набралось достаточное количество, напали на повозку. К ним присоединились благомыслящие граждане, произведено было пятнадцать тысяч револьверных выстрелов, фургон взорвали динамитом и нашли среди обломков его труп обезьяны.

ГЛАВА XXXIV, из которой читатель узнает об аресте Бушотты и Мориса, о разгроме библиотеки д'Эпарвье и отбытии ангелов

Морис д'Эпарвье провел ужасную ночь. При малейшем шуме он хватался за револьвер, чтобы не сдаться живым в руки правосудия. Утром он буквально выхватил газеты у консьержки, жадно пробежал их глазами и вскрикнул от радости: он прочел, что на теле бригадира Гролле, перевезенном в морг для вскрытия, врачи нашли только синяки и ссадины, то есть поверхностные ранения, и что смерть произошла от разрыва аорты.

— Видишь, Аркадий, — вскричал он с торжествующим видом, — видишь, я не убийца! Я невинен! Я и представить себе не мог, до какой степени приятно быть невинным.

Потом он задумался и как это обычно бывает, размышление рассеяло его радость.

— Я невинен. Но нечего себя обманывать, — сказал он, покачав головой, — я причастен к шайке злодеев и живу с бандитами. Ты среди них на своем месте, Аркадий, ибо ты субъект подозрительный, жестокий и порочный. Но я человек из хорошей семьи, получил превосходное воспитание — и мне это стыдно.

— Я тоже, — сказал Аркадий, — получил превосходное воспитание.

— Где это?

— На небесах.

— Нет, Аркадий, нет, ты не получил никакого воспитания. Если бы в тебя заложены были твердые принципы, ты бы их сохранил. Принципы никогда не утрачиваются. Я с раннего детства учился уважать семью, родину и религию. Я этого не забыл и никогда не забуду. Знаешь, что меня больше всего в тебе возмущает? Совсем не твоя испорченность, жестокость, черная неблагодарность, не твой агностицизм, с которым, на худой конец, можно примириться, не твой скептицизм, хотя он очень устарел (ведь после национального пробуждения во Франции не принято быть скептиком), нет, — противнее всего в тебе отсутствие вкуса, дурной тон твоих идей, полное отсутствие изящества в твоих доктринах. Ты мыслишь как интеллигент, рассуждаешь как свободомыслящий, от твоих теорий несет плебейским радикализмом, комбизмом и тому подобной мерзостью. Убирайся! Ты мне гадок! Аркадий, мой единственный друг, Аркадий, мой добрый ангел, Аркадий, мой мальчик, послушайся своего ангела-хранителя: уступи моим мольбам, откажись от своих безумных идей, сделайся снова добрым, простым, невинным и счастливым. Надевай шляпу, пойдем вместе в Нотр-Дам. Там мы помолимся и поставим свечку.

Между тем общественное мнение было все еще возбуждено. Большая пресса этот рупор национального пробуждения — с настоящим подъемом, с подлинной глубиной вскрывала в своих статьях философию, лежащую в основе этого чудовищного деяния, возмутившего все умы. Его истинные корни, его косвенные, но весьма действенные причины усматривались в безнаказанном распространении революционных доктрин, в ослаблении

социальной узды, в расшатанности внутренней дисциплины, в непрерывном поощрении всяческих притязаний и вожделений. Чтобы вырвать зло с корнем, необходимо как можно скорее отвергнуть такие химеры и утопии, как синдикализм, подоходный налог и т. д. и т. п. Многие газеты, и притом из числа влиятельных, видели в участвовавших преступлениях плоды безверия и делали вывод, что спасение общества в единодушном и искреннем возвращении к религии.

В воскресенье, последовавшее за злодеянием, в церквях наблюдался необычайный наплыв народа.

Следователь Сальнэв, которому поручено было вести дело, сперва допросил лиц, арестованных полицией, и пошел по следам соблазнительным, но ложным. Переданное ему донесение осведомителя Монтремэна направило его внимание на верный путь и помогло ему признать в преступниках с улицы Фэтрие жоншерских бандитов. Он велел разыскать Аркадия и Зиту и выдал ордер на арест князя Истара, который и был схвачен двумя агентами, когда выходил от Бушотты, где спрятал две бомбы нового типа. Осведомившись о намерениях агентов, керуб широко улыбнулся и спросил, хороший ли у них автомобиль? Когда они ответили, что автомобиль хороший и ждет у подъезда, он уверил их, что ему больше ничего не требуется. Тут же на лестнице он уложил обоих агентов, спустился к ожидавшему его автомобилю, бросил шофера под автобус, который очень кстати проезжал мимо, и взялся за руль на глазах у потрясенной толпы.

В тот же вечер г-н Жанкур, полицейский комиссар по судебным делам, проник в квартиру Теофиля в тот момент, когда Бушотта глотала сырое яйцо, чтобы прочистить голос, так как вечером ей предстояло исполнять в «Национальном эльдорадо» новую песенку: «Этого у них в Германии нет». Музыканта не было дома. Бушотта приняла чиновника с гордым достоинством, испувавшим простоту ее наряда: она была в одной рубашке. Почтенный полицейский чин взял партитуру «Алины, королевы Голконды» и любовные письма, которые певица заботливо хранила в ящике ночного столика, ибо она уважала порядок. Он уже собирался уходить, когда заметил стенной шкаф. Он небрежно открыл его и обнаружил в нем бомбы, которыми можно было взорвать пол-Парижа, а также пару больших белых крыльев, происхождение и назначение которых он не мог себе объяснить. Бушотте предложено было кончить туалет, и, несмотря на крики, ее препроводили в полицию.

Г-н Сальнэв был неутомим. Рассмотрев бумаги, захваченные при обыске на квартире Бушотты, и руководствуясь указаниями Монтремэна, он отдал приказ арестовать молодого д'Эпарвье, что и было исполнено в среду 27 мая в семь часов утра с величайшей корректностью. Морис уже трое суток не спал, не ел, не занимался любовью, — словом, не жил. Ни на миг не усомнился он в истинной причине этого утреннего посещения. При виде полицейского комиссара на него снизошло неожиданное спокойствие. Аркадий не приходил домой ночевать. Морис попросил комиссара подождать и тщательно оделся, затем последовал за полицейским чином в стоявшее у подъезда такси. Он был преисполнен душевной ясности, которая почти не омрачилась, когда, за ним захлопнулась дверь Консьержери. Оставшись один в камере, он взобрался на стол и выглянул в окошко. Он увидел кусочек голубого неба и улыбнулся. Источниками его спокойствия были умственная усталость, оцепенение чувств и сознание, что ему больше нечего бояться ареста. Несчастья, которые с ним произошли, наделили его высшей мудростью. На него как будто снизошла благодать. Он не переоценивал, но и не презирал себя, а просто положился на волю божью. Не стремясь затушевать свои ошибки, которых он от себя не скрывал, он мысленно обращался к провидению с просьбой принять во внимание, что он вступил на путь порока и мятежа с одной лишь целью — вернуть на путь истинный своего заблудшего ангела. Он улегся на койку и мирно заснул.

Узнав об аресте певички и сына почтенных родителей, Париж и провинция ощутили тягостное недоумение. Взволнованное трагическими картинами, которые рисовала ему большая пресса, общественное мнение требовало, чтобы закон привлек к ответственности свирепых анархистов, погрязших в убийствах и поджогах, и не могло понять, зачем это

власти ищут виновников в мире искусства и в большом свете. Узнав эту новость одним из последних, председатель совета министров и министр юстиции подскочил в своем кресле, украшенном сфинксами, менее грозными, чем он сам, и в яростном возбуждении, обдумывая случившееся, изрезал перочинным ножиком, по примеру Наполеона, красное дерево императорского письменного стола. А когда вызванный им следователь Сальнэв предстал перед ним, председатель совета министров бросил ножик в камин, подобно тому как Людовик XIV выбросил в окно свою трость перед Лозеном. Невероятным усилием воли он сдержал себя и сказал сдавленным голосом:

— Вы что, с ума сошли?.. Я ведь ясно указал, что заговор должен быть анархистский, антиобщественный, глубоко антиобщественный и антиправительственный с синдикалистским оттенком. Я достаточно определенно выразил желание, чтобы он был ограничен этими пределами. А вы что из него сделали? Реванш для анархистов и революционеров. Кого вы арестовали? Певицу, обожаемую националистической публикой, и сына одного из наиболее чтимых католической партией деятелей, господина Ренэ д'Эпарвье, у которого бывают наши епископы, который имеет доступ в Ватикан и не сегодня-завтра может сделаться посланником при папе. Из-за вас против меня сразу ополчатся сто шестьдесят депутатов и сорок сенаторов правой, и это накануне запроса по поводу религиозного примирения. Вы ссорите меня с моими сегодняшними и завтрашними друзьями. Может быть, вы взяли любовные письма Мориса д'Эпарвье, чтобы узнать, не рогоносец ли вы, как этот болван дез'Обель? На этот счет не сомневайтесь: вы рогоносец, и это известно всему Парижу. Но вы служите в суде не для того, чтобы вымещать свои личные обиды.

— Господин министр, — пробормотал, задыхаясь, следователь, которому вся кровь бросилась в голову, — я честный человек.

— Вы болван... и вдобавок провинциал. Слушайте: если Морис д'Эпарвье и мадемуазель Бушотта через полчаса не будут на свободе, я сотру вас в порошок. Можете идти.

Г-н Ренэ д'Эпарвье сам поехал за своим сыном в Консьержери и отвез его в старый дом на улице Гарансьер. Возвращение было триумфальное: пустили слух, будто юный Морис с благородной опрометчивостью отдал свои силы попытке восстановить монархию и будто судья Сальнэв, гнусный франкмасон, креатура Комба и Андрэ, пытался опорочить мужественного юношу связью с бандитами. Именно так думал, по-видимому, аббат Патуйль, ручавшийся за Мориса, как за себя самого. К тому же было известно, что, порвав со своим отцом, в свое время признавшим республику, молодой д'Эпарвье стал на путь непримиримого роялизма. Хорошо осведомленные лица усматривали в его аресте месть евреев. Ведь Морис был признанный антисемит. Католическая молодежь устроила враждебную демонстрацию следователю Сальнэву под окнами его квартиры на улице Генего, против Монетного двора.

На бульваре, у здания суда, группа студентов вручила Морису пальмовую ветвь.

Морис растрогался, увидев старый особняк, в котором жил с детства, и, рыдая, упал в объятия матери. Это был чудесный день, но, к несчастью, его омрачило тягостное событие. Г-н Сарьетт, потерявший рассудок после трагедии на улице Курсель, внезапно впал в буйство. Он заперся в библиотеке, сидел там уже целые сутки, издавая дикие крики, и отказывался оттуда выйти, невзирая ни на какие просьбы и угрозы. Ночь он провел в состоянии крайнего возбуждения, так как замечено было, что огонь лампы непрерывно двигался туда и сюда за спущенными занавесками. Утром, услышав голос Ипполита, звавшего его со двора, г-н Сарьетт открыл окно залы Сфер и Философов и запустил несколькими весьма увесистыми томами в голову старого лакея. Все слуги-мужчины, женщины, подростки-высыпали на двор, и библиотекарь принялся швырять в них целыми охапками книг. Положение обострилось настолько, что сам г-н Ренэ д'Эпарвье снизошел до вмешательства в это дело. Он появился в ночном колпаке и халате и попытался образумить несчастного безумца, но тот вместо ответа изверг целый поток ругательств на человека,

которого доселе почитал как своего благодетеля, и стал яростно забрасывать его всеми библиями, всеми талмудами, всеми священными книгами Индии и Персии, всеми отцами греческой и римской церкви — святым Иоанном Златоустом, святым Григорием Назианином, святым Иеронимом, блаженным Августином, всеми апологетами и «Историей изменений» с собственноручными пометками Боссюэта. Тома *in octavo*, *in quarto*, *in folio* самым недостойным образом шлепались о плиты двора. Письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля разлетались по ветру. Горничной, которая нагнулась, чтобы подобрать в канаве листки писем, попал в голову громадный голландский атлас. Г-жа Ренэ д'Эпарвье, испуганная этим зловещим шумом, появилась во дворе, не успев накраситься. При виде ее ярость старого Сарьетта усилилась. Один за другим полетели бюсты древних поэтов, философов, историков. Гомер, Эсхил, Софокл, Эврипид, Геродот, Фукидид, Сократ, Платон, Аристотель, Демосфен, Цицерон, Виргилий, Гораций, Сенека, Эпиктет превратились в осколки, а за ними с грохотом обрушились земной шар и небесная сфера, вслед за чем воцарилась жуткая тишина, которую нарушил только звонкий смех маленького Леона, созерцавшего все это представление из окна. Наконец слесарь отпер дверь библиотеки, все обитатели дома ринулись туда и увидели старого Сарьетта, который, укрывшись за горами книг, разрывал в клочья «Лукреция» приора Вандомского с собственноручными пометками Вольтера. Пришлось пробивать дорогу сквозь эти баррикады. Но когда сумасшедший увидел, что в его убежище проникли, он бросился через чердак на крышу. Целых два часа его вопли разносились по всему кварталу. На улице Гарансьер все прибывала толпа, которая наблюдала за несчастным и испускала крик ужаса всякий раз, как он спотыкался о черепицы, ломавшиеся под его ногами. Г-н аббат Патуйль стоял среди толпы и, ожидая, что сумасшедший с минуты на минуту сверзится вниз, читал по нем отходную и готовился дать ему отпущение грехов *in extremis*. Полицейские охраняли дом и следили за порядком. Вызвали пожарных, и вскоре послышались звуки их фанфар. Они приставили лестницу к стене особняка и после жестокой борьбы схватили безумца, который оказал такое сопротивление, что вывихнул себе руку. Его тотчас же отвезли в больницу для умалишенных.

Морис пообедал в домашнем кругу, и у всех на лицах мелькнула растроганная улыбка, когда Виктор, старый метрдотель, подал жареную телятину. Г-н аббат Патуйль, сидя по правую руку матери-христианки, умиленно созерцал эту благословенную господом семью. Но г-жа д'Эпарвье все еще была озабочена. Она каждый день получала анонимные письма, полные всяческих грубых и оскорбительных ругательств, и сначала была уверена, что это дело рук недавно уволенного лакея, а теперь узнала, что их пишет младшая дочь Берта, почти ребенок! Маленький Леон тоже доставлял ей немало забот и огорчений. Он плохо учился и обладал дурными наклонностями. В нем проявлялась жестокость. Он оципал живьем канареек своей сестры, постоянно втыкал булавки в стул мадемуазель Капораль и украл четырнадцать франков у этой бедной девушки, которая с утра до вечера плакала и сморкалась.

Едва закончился обед, Морис побежал на улицу Рима, чтобы поскорее увидеться со своим ангелом. Еще за дверью он услышал громкие голоса, и в комнате, где произошло явление ангела, увидел Аркадия, Зиту, ангела-музыканта и керуба, который, растянувшись на кровати, курил огромную трубку и небрежно прожигал подушки, простыни и одеяла. Они обняли Мориса и сообщили ему, что готовы к отбытию. Лица их сияли радостью и отвагой. Лишь вдохновенный автор «Алины, королевы Голконды» проливал слезы и возводил к небу испуганные взоры. Керуб насильно втянул его в партию мятежа, предоставив ему на выбор — либо томиться в тюрьмах земли, либо идти с огнем и мечом на твердыню Иалдаваофа.

Морис с болью в сердце убедился, что земля стала им почти совсем безразлична. Они покидали ее, полные великой надежды, для которой имели все основания. Конечно, их отряды были невелики по сравнению с бесчисленным воинством султана небес. Но они рассчитывали, что малочисленность их будет возмещена сокрушительной силой внезапного нападения. Они знали, что Иалдаваофа, который хвалится всеведением, иногда можно

застигнуть врасплох. Это, несомненно, произошло бы при первом восстании, если бы он не внял советам архангела Михаила. Небесное воинство ничуть не усовершенствовалось со времени своей победы над мятежниками до начала времен. По вооружению и технике оно было таким же отсталым, как марокканская армия. Его военачальники погрязли в изнеженности и невежестве. Осыпанные почестями и богатствами, они предпочитали веселье пиров тяготам войны. Михаил, их главнокомандующий, по-прежнему храбрый и верный, с веками утратил пыл и отвагу. Наоборот, заговорщики 1914 года знакомы были с новейшими и совершеннейшими способами применения науки к искусству уничтожения. Наконец все было решено, все было готово. Армия восставших, собранная в корпуса по сто тысяч ангелов, на всех пустынях земли — в степях, пампасах, песках, льдах, снегах — готова была устремиться в небо.

Ангелы, изменяя ритм движения составляющих их атомов, могут проникать сквозь самую разнообразную среду. Духи, сошедшие на землю и с момента воплощения состоящие из слишком плотной субстанции, сами уже не могут летать. Чтобы подняться в области эфира и там мало-помалу утратить плотность, они должны прибегнуть к помощи своих братьев, таких же мятежников, но пребывающих в эмпирее и поэтому оставшихся если не вполне имматериальными (ибо все в мире материально), то, во всяком случае, божественно-легкими и прозрачными. Конечно, Аркадий, Истар и Зита не без томительного страха готовились перейти из густой земной атмосферы в лучезарные бездны неба. Чтобы окунуться в эфир, ангелам приходится употребить такие усилия, что даже самые смелые из них не вдруг решаются оторваться от земли. Проникая в эту тончайшую среду, их субстанция сама должна утончиться, испариться, перейти от человеческих размеров к объему самых больших облаков, когда-либо окутывавших земной шар. Вскоре они превзойдут по величине видимые в телескоп планеты, через орбиты которых им предстоит пройти незримыми и невесомыми, не нарушая течения этих планет. В этом напряжении всех сил, величайшем, на которое способны ангелы, их субстанция будет становиться то горячее огня, то холоднее льда, и они будут испытывать страдания страшнее смерти.

По глазам Аркадия Морис понял, какая смелость нужна для такого предприятия и какие муки оно сулит.

— Ты уходишь, — сказал он рыдая.

— Вместе с Нектарием мы пойдем за великим архангелом, чтобы он повел нас к победе.

— Кого ты так называешь?

— Священники демиурга говорили тебе о нем, клеветца на него.

— Несчастный! — вздохнул Морис.

И, уронив голову на руки, залился слезами.

ГЛАВА XXXV,

и последняя, в которой разворачивается величественный сон Сатаны

Поднявшись на семь высоких террас, идущих от крутых берегов Ганга к храмам, скрытым в зарослях лиан, пятеро ангелов добрались по едва заметным тропинкам до запущенного сада, полного благоухающих гроздий и шаловливых обезьян, и там, в глубине, они увидели того, за кем пришли. Архангел покоился, облокотившись на черные подушки, вышитые золотыми языками пламени.

У ног его мирно лежали львы и газели. Обвиваясь вокруг деревьев, ручные змеи смотрели на него дружелюбным взглядом. При виде ангелов лик его подернулся грустью. Уже в те дни, когда, увенчав чело гроздьями и держа в руках скипетр из виноградной лозы, он обучал и утешал людей, сердце его зачастую наполнялось печалью. Но никогда еще со времен его славного падения на прекрасном лице архангела не было такой скорби и тревоги.

Зита рассказала ему, что сонмы небесных мятежников собраны под черными знаменами на всех пустынях земного шара, что освобождение задумано и подготовлено в тех

областях неба, где разгоралось и первое восстание. И она добавила:

— Повелитель, твое воинство ждет тебя. Восстань и поведи его к победе.

— Друзья мои, — ответил великий архангел, — мне была известна цель вашего посещения, под сенью того высокого дерева для вас приготовлены корзины с фруктами и медовые соты. Солнце уже опускается в порозовевшие воды священной реки. Подкрепитесь пищей, а затем усните сладко в этом саду, где царят разум и наслаждение с тех пор, как я изгнал отсюда дух старого демиурга. Завтра вы услышите мой ответ.

Ночь простерла над садом свои синие покровы. И Сатана уснул, и ему был сон, и во сне этом, витая над землею, он увидел, что вся она покрыта прекрасными, как боги, мятежными ангелами, чьи глаза мечут молнии. И от одного полюса до другого возносился к нему единый клич, слитый из сотен тысяч возгласов и преисполненный надежды и любви. И Сатана молвил:

— Пойдем же! Сразимся с нашим исконным врагом в его горнем жилище.

И он повел по равнинам неба бесчисленное воинство ангелов. И Сатане стало известно то, что происходило тогда в небесной твердыне. Когда весть о втором восстании проникла туда, отец сказал сыну:

— Непримирымый враг снова поднялся против нас. Подумаем об опасности и позаботимся о защите, дабы не лишиться нам нашей горней обители.

И сын, единосущный отцу, ответил:

— Мы восторжествуем под знаменем, которое принесло победу Константину.

Негодование охватило Гору господню. Верные серафимы сперва стали сулить мятежникам страшные муки, затем принялись размышлять о том, как одолеть восставших. Гнев, вспыхнувший в сердцах небожителей, воспламенил их лики. Никто не сомневался в победе, но опасались измены и уже требовали для вражеских соглядатаев и распространителей тревожных слухов заключения в недрах вечного мрака. Раздавались воинственные клики, пение древних гимнов, хвалы господе. Пили мистические вина. Чрезмерно раздутая отвага, казалось не выдержит напряжения, и тайное беспокойство уже закрадывалось в темные недра душ. Архангел Михаил принял верховное командование. Своим спокойствием он во всех вселял уверенность. Лик архангела, отражавший все движения души, светился полным презрением к опасности. По его приказу, начальники громов, керубы, разжиревшие от долгих веков мира, обходили тяжелым шагом укрепления святой Горы и, обводя громоносные тучи господни медленным взором своих бычьих глаз, старались выдвинуть на позиции небесные батареи. Завершив обследование оборонительных сооружений, они уверили всевышнего, что все готово. Начали обсуждать план действий. Михаил высказался в пользу наступления. «Это, — утверждал он, как настоящий военный, — первое правило». Либо нападение, либо защита, середины нет.

— Кроме того, — добавлял он, — тактика нападения особенно соответствует горячности Престолов и Господств. — Обо всем остальном у доблестного вождя невозможно было вырвать ни слова, и молчание это было сочтено признаком уверенности в себе военного гения.

Как только неприятель был замечен, Михаил выслал ему навстречу три армии под начальством архангелов Уриила, Рафаила и Гавриила. Знамена цветов зари развернулись над эфирными полями, и молнии посыпались на звездную мостовую. Три дня и три ночи на Горе господней ничего не знали об участии возлюбленного и грозного воинства. На рассвете четвертого дня стали поступать известия, еще неопределенные и смутные. Говорили о незавершенных победах, о сомнительных успехах. Слухи о славных деяниях возникали и рассеивались в течение нескольких часов. Передавали, будто молнии Рафаила, направленные на мятежников, уничтожали их целыми эскадронами. Лица, хорошо осведомленные, утверждали, что войска, которыми командовала нечестивая Зита, были сметены вихрями огненной бури. Рассказывали, что неистовый Истар был сброшен в бездну и при этом перевернулся задом вверх так внезапно, что изрыгаемые его устами богохульства закончились громким позорным звуком. Всем хотелось верить, что Сатана закован в

алмазные цепи и снова низринут в пропасти ада. А между тем от начальников трех небесных армий не поступало никаких сообщений. К слухам о победе стали примешиваться теперь другие, заставлявшие опасаться неопределенного исхода сражения и даже поспешного отступления. Дерзкие голоса утверждали, будто один ангел самой низшей категории, ангел-хранитель, какой-то ничтожный Аркадий, привел в замешательство и обратил в бегство блистательное воинство трех великих архангелов.

Говорили также о массовом переходе на сторону врага ангелов, обитавших в северной части неба, где разразилось первое восстание до начала времен. Некоторые будто бы даже видели черные тучи нечестивых ангелов, присоединявшихся к мятежным войскам, собранным на земле. Но добрые граждане отказывались верить этим гнусным слухам и цеплялись за вести о победе, которые передавались из уст в уста, подкрепляя и подтверждая одна другую. В горних областях зазвучали радостные гимны; на арфах и гусях серафимы восхваляли Саваофа, бога громов. Голоса святых слились с голосами ангелов, славя незримого. При мысли об избиении, учиненном посланцами гнева божия, вздохи ликования поднимались из Небесного Иерусалима к престолу всевышнего. Но радость блаженных, заранее достигшая высших ступеней, уже не могла возрастать, и от избытка счастья они стали совершенно бесчувственны.

Песнопения еще не умолкли, когда стража, стоявшая на стенах, заметила первых беглецов божественного воинства — оципанных, летевших в полном беспорядке серафимов, искалеченных керубов, ковьялявших на трех ногах. Невозмутимым взглядом князь воинов Михаил обзирал размеры бедствия, и его светлый разум постигал причины поражения. Воинства бога живого пошли в наступление. Но по одной из тех случайностей, которые на войне расстраивают планы величайших полководцев, противник тоже перешел в наступление, и последствия этого были налицо. Едва лишь ворота крепости распахнулись, чтобы принять славные и изувеченные остатки трех армий, как огненный дождь излился на Гору господнюю. Воинства Сатаны еще не было видно, а топазовые стены, изумрудные купола, алмазные кровли с ужасающим грохотом рушились под разрядами электрофоров. Старые грозовые тучи — пытались отвечать, но они действовали на слишком короткое расстояние, и молнии их бесцельно терялись в пустынных просторах неба.

Пораженные невидимым противником, верные ангелы покинули укрепления, Михаил отправился к своему богу доложить, что не пройдет и суток, как священная Гора окажется во власти демонов, и что единственное спасение для владыки мира — это бегство. Серафимы собрали в сундуки драгоценности небесной короны. Михаил предложил руку царице небесной, и божественное семейство покинуло дворец через порфирные подземелья. А на твердыню небесную низвергался огненный потоп. Заняв снова свой боевой пост, доблестный архангел заявил, что не сдастся никогда, но тотчас же велел спустить знамена бога живого. В тот же вечер воинство мятежников вошло в трижды святой град. Впереди своих демонов ехал на огненном коне Сатана. За ним шли Аркадий, Истар и Зита. Как на дионисовых празднествах, старый Нектарий ехал на осле. За ними вдалеке развевались черные знамена. Гарнизон сложил оружие перед Сатаной. Михаил опустил к ногам архангела-победителя свой пылающий меч.

— Возьми свой меч, Михаил, — молвил Сатана. — Люцифер возвращает его тебе. Носи его в защиту мира и законности.

Затем, обратив свой взор к начальникам небесных фаланг, он воскликнул звучным голосом:

— Архангел Михаил, и вы, Власти, Престолы и Господства, клянитесь верно служить своему богу.

— Клянемся, — ответили все в один голос.

И Сатана молвил:

— Власти, Престолы и Господства, из того, что было во всех прошлых войнах, я хочу помнить одно лишь непоколебимое мужество, проявленное вами, и вашу верность существующей власти, — пусть она будет залогом той верности, в которой вы мне только

что поклялись. На другой день Сатана велел раздать войскам, собранным на эфирных равнинах, черные знамена; и крылатые воины лобзали их и орошали слезами.

И Сатана провозгласил себя богом. Толпясь на блистающих стенах Небесного Иерусалима, апостолы, папы, девственницы, мученики, исповедники, все избранные, пребывавшие во время грозной битвы в блаженном спокойствии, наслаждались с безграничной радостью зрелищем священного венчания. С восторгом увидели избранные низвержение всевышнего в ад и восшествие Сатаны на божий престол. В соответствии с волею бога, запретившего им скорбеть, они на старый лад воспели хвалу новому владыке.

И Сатана, устремив пронзительный взгляд в пространство, стал смотреть на маленький шар из земли и воды, где он некогда насадил виноград и создал первые трагические хоры. Он обратил взор свой на этот Рим, где низвергнутый бог обманом и хитростью основал некогда свое могущество. В это время церковью управлял святой муж. Сатана увидел, что он молится и плачет. И сказал ему:

— Поручаю тебе супругу мою. Служи ей верно. Утверждаю за тобой право и власть устанавливать догматы, определять, как и когда должны совершаться таинства, издавать законы для сохранения чистоты нравов. И да повинется им каждый верующий. Церковь моя вечна, и врата ада не одолеют ее. Ты непогрешим. Ничто не изменилось.

И преемник апостолов почувствовал безграничное блаженство. Он пал ниц и, уронив голову на плиты, ответил:

— Господи боже мой, узнаю голос твой. Дыхание твое, как бальзам, разлилось в моем сердце. Да святится имя твое. Да будет воля твоя на небесах и на земле. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

И Сатана упивался хвалами и поклонением. Ему нравились славословия его мудрости и могуществу. Он с удовольствием слушал песнопения херувимов, превозносивших его благодать, а флейта Нектария перестала радовать его, потому что она воспевала природу, уделяя и насекомому и травинке их долю могущества и любви, говорила о радости и свободе. Сатана, некогда содрогавшийся всем телом при мысли, что миром владеет скорбь, стал теперь недоступен жалости. Он смотрел на страдание и смерть как на отрадное следствие своего всемогущества и великого милосердия. И кровь жертв курилась перед ним как сладостный фимиам. Он осуждал разум и ненавидел любознательность. Сам он отказывался познавать что-либо из опасения, как бы приобретение нового знания не показало, что он не был с самого начала всеведущим. Теперь он любил окружать себя тайной и, считая, что потеряет часть своего величия, если будет понят, старался изобразить себя непостижимым. Мозг его туманили сложные богословские построения. В один прекрасный день он задумал, по примеру своего предшественника, провозгласить себя единым божеством в трех лицах. На торжестве провозглашения он заметил, что Аркадий улыбается, и прогнал его с глаз долой. Истар и Зита уже давно вернулись на землю. Века проходили как мгновения. И вот однажды с высоты своего престола он проник взором в самую глубину бездны и увидел Иалдаваофа в геенне, куда низвергнул его и где сам был долгое время заточен. Иалдаваоф и в вечной тьме сохранил свою гордость. Почерневший, сломленный, грозный, величественный, он возвел ко дворцу царя небес взор, полный презрения, и отвернулся. И новый бог, наблюдая за своим противником, увидел, как скорбное лицо его озарилось разумом и добротой. Теперь Иалдаваоф созерцал землю и, видя, что на ней царят страдание и зло, питал в сердце своем благие помыслы. Вдруг он поднялся и, рассекая эфир своими необъятными руками, словно веслами, устремился на землю, чтобы просвещать и утешать людей. И вот уже огромная тень его окутала несчастную планету сумраком, нежным, как ночь любви. И Сатана проснулся, весь в холодном поту.

Нектарий, Истар, Аркадий и Зита стояли подле него. Пели райские птицы:

— Друзья, — сказал великий архангел, — нет, не станем завоевывать небо. Довольно того, что это в наших силах. Война порождает войну, а победа-поражение.

Побежденный бог обратится в Сатану, победоносный Сатана станет богом. Да избавит меня судьба от такой страшной участи! Я люблю ад, взрастивший мой гений, люблю землю,

которой мне удалось принести немного добра, если только это возможно в ужасном мире, где все живет убийством. Ныне благодаря нам старый бог лишился земного владычества, и все мыслящее на земном шаре не хочет знать его или же презирает. Но какой смысл в том, чтобы люди не подчинялись. Иалдаваофу, если дух его все еще живет в них, если они, подобно ему, завистливы, склонны к насилию и раздорам, алчны, враждебны искусству и красоте? Какой смысл в том, что они отвергли свирепого демиурга, раз они отказываются слушать дружественных демонов, несущих им познание истины, Диониса, Аполлона и Муз? Что же касается нас, небесных духов, горних демонов, то мы уничтожили Иалдаваофа, нашего тирана, если победили в себе невежество и страх.

И Сатана обратился к садовнику:

— Нектарий, ты сражался вместе со мной до рождения мира. Мы были побеждены тогда, ибо мы не понимали, что победа — дух и что в нас, и только в нас самих, должны мы побороть и уничтожить Иалдаваофа.